



ОБЪЕКТЫ АФФЕКТА: К МАТЕРИОЛОГИИ ЭМОЦИЙ – 2

Составитель блока Сергей Ушакин

С е р г е й У ш а к и н

ДУША ИМУЩЕСТВА И ВЕЩНОСТЬ ИДЕОЛОГИЙ

Вторая подборка статей, посвященных «материальной энергии»¹ вещей, продолжает тему, начатую в прошлом номере «Нового литературного обозрения». Как и прежде, главной целью этого блока является попытка сформулировать подходы, позволяющие воспринимать мир предметов не только как продукт человеческой деятельности, но и как активный материальный фактор, определяющий чувства, поведение, самовосприятие и самописание людей.

В трех статьях, предложенных ниже, анализ роли материальности в формировании аффективных режимов — то, что Андрей Платонов называл «душой-имуществом»², — дополняется еще одной важной темой. Опираясь на разные исторические контексты и интерпретационные модели, авторы данного блока тем не менее сходны в стремлении проследить структурную двойственность вещи, отмеченную еще Борисом Арватовым: вещь как материальная форма и вещь как форма идеологическая³. Авторы блока проблематизируют эту исходную двойственность вещи по-разному. **Алексей Голубев** переводит ее на язык противопоставления памяти и истории; **Виктор Вахштайн** формулирует ее как «зазор» между сценарной и физической модальностями объекта; **Кристина Фехервари** пишет о противоречии между дискурсивными и материальными свойствами предметов социалистического быта. Различия в термино-

1 *Арватов Б.* Быт и культура вещи: (К постановке вопроса) // Альманах Пролеткульта. М.: Всероссийский Пролеткульт, 1925. С. 82.

2 *Платонов А.* Записные книжки. Материалы к биографии. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 36, 329.

3 См. подробнее: *Арватов Б.* Указ. соч. С. 78.

логии в данном случае не должны скрывать главного: речь идет не о традиционном противопоставлении (материальной) *формы* и (символического) *содержания* вещи — речь идет о том, как одни и те же физические свойства предмета могут генерировать несовпадающие и даже противоречащие системы ценностей или, например, типы поведения. Ив Кософски-Седжвик в работе, посвященной вопросам аффекта и материальности, хорошо сформулировала суть этого подхода, который (на мой взгляд) проявляется в каждой статье блока. Во многом продолжая линию критического анализа, предложенную Полем де Маном («...для того, чтобы стать текстом, референциальная функция должна быть радикально неопределенной»)⁴, Седжвик предложила обратить внимание на непростые отношения, возникающие *между* изначальной референциальной функцией — то есть смыслом, заложенным в написанный текст, — и тем «текстом», который создается читателем в процессе чтения. Ключевым, иными словами, становится не «деконструкция фигурального измерения»⁵ текста или предмета, но диалог, переплетение фигурального измерения и аллегорического чтения — или, словами Седжвик, «перекручивание (the torsion), взаимное искажение <...> референции и перформативности»⁶. Фигуральное измерение — вещьность, материальность, свойство — не исчезает, но становится важной движущей силой символического производства: колючей проволокой, зацепившей разрозненные куски памяти.

Выделю еще один важный аспект статей этого блока. Активное стремление вернуть вещьности ее аффективную, гносеологическую, социальную и / или политическую значимость сочетается у авторов подборки с фундаментальной приверженностью к дискурсивным методам анализа материальности: Кристина Фехервари в анализе материального быта социализма прямо опирается на семиотику Ч. Пирса; Алексей Голубев последовательно прослеживает механизмы возникновения и предотвращения появления «культурного языка»; Виктор Вахштайн методично раскрывает нарративные («сценарные») возможности материальных объектов. Иными словами, желание, так сказать, выявить душу имущества, желание продемонстрировать энергию, агентивность и / или актантность *вещи* закономерно заканчивается анализом вещьности того или иного *символического* порядка, фрейма или системы ценностей. И в этом постоянном переплетении и взаимном искажении дискурсивного и материального, символического и аффективного, формального и содержательного, на мой взгляд, и состоит основное достоинство материологических попыток вернуть вещам их динамизм, а эмоциям — их материальность.

4 *Ман П. де.* Аллегии чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста / Пер. С. Никитина. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999. С. 354.

5 Там же.

6 *Kosofsky Sedgwick E.* Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham: Cornell University Press, 2003. P. 7.

Ключевые слова: социалистический модерн, социалистический типаж, органицистский модерн, сверх-естественный органицизм, архитектура и утопия, квалисигнум

К р и с т и н а Ф е х е р в а р и

ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО МОДЕРНА К СВЕРХ-ЕСТЕСТВЕННОМУ ОРГАНИЦИЗМУ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АФФЕКТ И МАТЕРИАЛЬНОСТЬ ДОМАШНЕГО УСТРОЙСТВА В ВЕНГРИИ*

ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО МОДЕРНА К СВЕРХ-ЕСТЕСТВЕННОМУ ОРГАНИЦИЗМУ

После краха государственного социализма в Венгрии акцент на естественности, экологичности и надежности потребительских товаров стал общим местом коммерческой рекламы. Типичным примером этой тенденции может служить билборд, рекламирующий черепицу «Vitamac» на въезде в бывший «новый социалистический город», где я проводила свои полевые исследования (рис. 1). На фоне дымящих труб городского сталелитейного завода билборд демонстрирует старинные домики с красной черепицей крыши, разбросанные среди убегающих зеленых холмов. Рекламный слоган, расположенный над этими холмами, сообщает: «В дружбе с природой». В нижней части плаката находится изображение черепицы, перевязанной подарочной лентой, которое сопровождается недосказанной фразой: «*Если строишь раз...*» За скобками осталось продолжение этого хорошо известного изречения: «*Если строишь раз, то строй на века*».

Поскольку венгерских застройщиков провинция не привлекает, многие семьи продолжают строить себе собственные дома, часто своими силами. Многие считают, что благодаря этому геркулесову труду со временем они станут собственниками дома, который простоит несколько поколений. Чере-

* Эта статья возникла во многом благодаря Мэттью Халлу, Зейнеп Гюрсель, Дейл Песмен, Джейсону Пайну, Полу Мэннингу, Сьюзен Гел, Брэду Вайсу, Деборе Корнелиус, Мойре Киллоран и Лиз Робертс, великодушно прочитавшим ее и предложившим свою критику и советы. Также я благодарна участникам конференций, где я представляла разные версии этой работы: в Обществе культурной антропологии, Санта-Фе (Нью-Мексико); на конференции «Itineraries of the Material» во Франкфуртском университете имени Иоганна Вольфганга Гёте; на ежегодной конференции в рамках программы по антропологии и истории (Program in Anthropology and History) Мичиганского университета и на конференции «Objects of Affection», организованной Сергеем Ушакиным по программе русских и евразийских исследований (Program in Russian and Eurasian Studies) Принстонского университета. Эта статья улучшилась благодаря внимательному чтению на семинаре по материальной культуре (Material Culture Workshop) в Чикагском университете. Я бы хотела особенно поблагодарить Леору Ауслендер за ее поддержку с самого начала и длительную вовлеченность в этот проект. Исследование и работа выполнены на средства комиссии «Фулбрайт», Исследовательского совета по социальным наукам (Social Science Research Council) и Американского совета научных обществ (American Council of Learned Societies). Вариант этой статьи опубликован в журнале «Cultural Anthropology» (2012. № 27 (4). P. 615–640).



Рис. 1. Билборд, рекламирующий черепицу «Bramac» (1997; фото автора)

пица с рекламной картинкой, разумеется, сделана не из глины, добытой из земли и обработанной солнцем; она произведена на фабрике из бетона, смешанного с красителями и нефтепродуктами, и обожжена при температуре свыше 2000° по Фаренгейту. Но, несмотря на свое искусственное происхождение, эта *сверх-естественная* и дорогостоящая черепица способна надежно защитить от капризов природы строения, которые служат приютом хрупкой человеческой жизни.

Однако в Дунауйвароше («новом городе на Дунае»), городе с 59-тысячным населением, большинство жителей живет в многоквартирных домах. Значительная часть этих зданий была возведена в период между началом 1960-х и серединой 1980-х годов и спроектирована в довольно однообразном модернистском стиле. В регионе за этим жильем укрепилось устойчивое имя «панель», отсылающее к железобетонным панелям, из которых и возводились эти дома¹. В последние десятилетия социализма многие семьи из рабочего и среднего класса в дополнение к «панельной» квартире приобретали также дачу с садом. В итоге в течение рабочей недели они могли воплощать социалистический образ жизни в модернистской городской квартире, а на выходные — уединяться в деревне². Это идеальный баланс стал терять устойчивость задолго до падения социализма в 1989 году, и в девяностые годы его быстро потеснила альтернатива, предложенная средним классом, — в виде отдельного дома для семьи, расположенного на окраине ближайшей деревни. Несмотря на удивительное стилевое разнообразие, эти новые дома объединяет одно общее качество: новое жилье по своей эстетике не совпадает ни со старыми сельскими домами, ни — что еще важнее — с бетонными «панелями» времен социализма. Со вкусом или при его полном отсутствии, новые дома отличаются своими органическими, округлыми и нередко шутивными фасадами (рис. 2).

Эти дома строились из «натуральных» материалов типа леса и камня; были выкрашены в тон земли или другие естественные цвета. Большинство людей описывали такие тона как цвета мороженого, но один инженер — владелец темно-розового дома настаивал на том, что это цвет мяса. Тем самым

подчеркивалась важность органики, исследованию которой и посвящена моя статья. Многие крыши таких домов покрыты красной черепицей, знакомой по рекламе «Втамас»; однако у некоторых зданий кровля сделана из престижного растительного материала, используемого при подгонке старых крестьянских домов к требованиям современного жилого пространства.



Рис. 2. Органицистская архитектура нового дома в пригороде Дунауйвароша (фото автора)

Это постсоциалистическое проявление органицистской эстетики стало возможным благодаря доступности новых красок, материалов и технологий, однако оно отнюдь не было новинкой. Эстетика, так стремительно набирающая популярность, изначально сформировалась в Венгрии еще в 1960—1980-е годы в противовес стилю *социалистический модерн* и породившей его «неестественной» социалистической системе. Ориентируясь на новый, более «естественный» порядок, венгры разного возраста и достатка стремились модифицировать свое жилье — включая и панельные строения.

Сама по себе негативная эмоциональная реакция на кубическую материальность бетонных структур социалистического модерна вряд ли удивительна, однако важно при этом помнить, что такое отношение к этому стилю существовало не всегда. Изначально модернистские формы и материалы обещали возможность процветающего эгалитарного общественного порядка. Многие восприняли с воодушевлением переезд в модернистские панельные дома с водопроводом и центральным отоплением. Основным предметом анализа в этой статье является как раз постепенный уход от модернистской утопии, воплощенной в таких «рукотворных» (и потому лучших, чем природные) материалах, как пластик и бетон, к неолиберальному общественному порядку, нашедшему воплощение в «естественных» (точнее, *сверх*-естественных) материалах типа черепицы «Втамас». Моя статья — это исследование взаимодействий между идеологией (государства, рынка или отдельных социальных групп), вещами (жилищным строительством, мебелировкой, эстетическими стилями) и людьми (в особенности их телесным опытом).

Долгое время мы считали, что идеологии идеальной социальной организации находят воплощение в повседневности, которая, в свою очередь, воспроизводит эти идеологические установки на уровне практик тела³. В статье я попытаюсь представить, как телесный опыт материальности может вступать в противоречие с идеологическими установками, трансформируя их изнутри. Социалистические государства крайне привлекательны с точки зрения анализа того, как материальность может выражаться средствами политических идеологий. Идеология в данном случае не просто «впечатана» в инфраструктуру⁴: социалистические режимы оказались тесно вовлечены в процесс укращения сил материального мира во имя политического проекта трансформации общества. Планировщики социалистических городов — как и модернистские архитекторы-проектировщики или мебельные дизайнеры авангарда — увидели в самих материальных формах мощные трансформирующие силы, *независимые* от идеологических установок⁵. Однако архитектурные планы не способны предопределять общественную жизнь. Материальные формы не только полисемантны сами по себе; их восприятие меняется в зависимости от человека, эпохи или экономических условий. Иными словами, моя основная мысль сводится к тому, что аффективный опыт материальных миров всегда выходит за рамки дискурсивных структур, зачастую самым непредсказуемым образом. Понятно, что дискурсивная или идеологическая структура может стимулировать появление установок на тот или иной опыт, но она также может повлиять и на наши аффективные реакции на вещи и пространства (например, на рекламу). И тем не менее те материальные свойства, которые стали частью повседневного опыта, могут не совпадать с материальными свойствами, которые виделись в качестве первостепенных с точки зрения идеологических установок, или даже противоречить им. Этот конфликт между повседневным опытом материальности и ее нормативным назначением может привести к существенной трансформации дискурсов и идеологий.

Таким образом, не только идеологические установки по поводу человеческой природы и политической организации воплощаются в предметах обихода, но и сами предметы способны стать катализаторами изменений в идеологиях и связанных с ними космологиях. На примере материальностей государственного социализма я покажу, как разрыв между идеологией и опытом привел к переоценке не только самих материалов, но и аффективной ценности связанных с ними идеологий. Новые материальные идеалы возникли рука об руку с новыми идеологическими ориентациями; при этом примечательно, что эти идеалы и установки оказались одновременно и порождением, и противвесом тем материальным идеалам и идеологическим установкам, которые так активно продвигались социалистическим государством.

Я выделяю четыре идеологически-материальные трансформации, опираясь на данные полевых этнографических исследований, а также на разнообразные печатные и визуальные медиаисточники⁶. В 1960-х годах дискурсы, касающиеся эстетики *социалистического модерна*, успешно девальвировали такую некогда излюбленную обстановку, как тяжелые и богато украшенные кресла, предложив альтернативу в легкой и многофункциональной мебели. Эти модернистские предметы были связаны с западным дизайном, но одновременно выражали социалистические космологии эгалитарного общества. Массовое переселение в современные здания и опыт жизни среди непрочных и недолговечных предметов обихода подорвали ценность такой материальной среды (и встроенных в нее идеологий). Материальный мир социалисти-

ческого модерна оказался эмоционально увязанным с безликим бюрократическим государством. Это восприятие становилось все сильнее по мере распространения эстетики соцмодерна. Повседневный опыт жизни превратил *социалистический модерн* в *социалистический типаж* (*Socialist Generic*). Поскольку для большей части населения вопрос о выборе, выходящем за пределы такого *типового* социализма, не стоял, то новая эстетика, возникшая снизу, — то, что я называю *органицистским модерном*, — была призвана приспособить и «гуманизировать» «типовые» проекты, например, покрывая толстой овчиной модернистские легковесные диваны. В 1990-е годы с исчезновением социального государства эта высоко ценившаяся органицистская эстетика домашнего пространства благодаря новым товарам превратилась в *сверх-естественный органицизм*, доступный любому, кто сможет его купить. Трансформация эстетизированных предметов материальной среды переплелась с трансформациями социальных и политических космологий.

История этих трансформаций — это не только венгерская история. По схожей траектории дизайн интерьеров изменялся по всему миру: конец холодной войны и отказ от идеи модернистского социального государства сделал привлекательными попытки привнести «природу» вовнутрь. В Венгрии этот общий процесс прошел нагляднее, чем где бы то ни было. В данном случае мы можем ясно видеть, как преимущества, приписываемые «естественным» материалам — гранитным столешницам, красному дереву, каменной облицовке и кожаным обивкам, — способствовали и дискредитации модернистских проектов, и появлению альтернативных космологий. Эти новые космологии отдали предпочтение моральному проекту жизни в гармонии с природой, одновременно считая «естественной» роль свободного рынка как основного мерил человеческих ценностей. Разумное стремление к «качеству» материальных благ, которые были бы более долговечными и полезными для здоровья, в итоге оказалось неотделимо от производства неравенства.

КВАЛИСИГНУМЫ, ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ И СМЫСЛ

Подход, при котором космологии уравниваются с аффективной силой материальной эстетики, практикуется учеными, опирающимися на семиотику Пирса, для того чтобы понять, как наши телесные практики быта вносят свой вклад в процессы означивания⁷. В отличие от сосюрговской семиотики, где связь между означающим и означаемым отделена от материальности, теория Пирса позволяет нам осмыслить суггестивную или резонирующую природу наших чувственных переживаний материального мира и то, как эти эмоциональные переживания могут быть использованы системами репрезентации, чтобы создавать или индексировать ценности, эмоции и идеологии.

Пирс называет качества или свойства вещей, доступные чувственному восприятию, *квалисигнумами* (*qualisigns*)⁸. Примерами квалисигнума могут служить красный цвет, или определенная текстура (мягкость), или то или иное свойство (например, светимость). Чтобы выступать в качестве квалисигнумов, эти свойства должны восприниматься в самых различных сферах (будь то предметы, субстанции или тела). Свойство красного цвета в лепестке тюльпана сходно, допустим, со свойством красного цвета в логотипе кока-колы или в пролитой крови. Эта способность свойств проявляться во множестве объектов, материалов и субстанций дает возможность гомологически уравнивать все эти сферы, связывая между собой разные аспекты восприни-

маемого мира. В то же время *квалиа* (свойства) не существуют сами по себе: они должны вступить в связь с другими материальными свойствами⁹. Краснота может быть воспринята только как ощущаемое чувствами свойство чего-то еще, например лепестков тюльпана, где оно сочетается с хрупкостью, восковой текстурой, запахом и т.д.

Это внимание к свойствам, а не к объектам позволяет нам увидеть, как связность, предполагаемая «эстетикой», может возникнуть из набора, казалось бы, не связанных между собой вещей. Такие качества, как цветовая гамма, способны объединять объекты, в других отношениях несопоставимые. Связи этих *квалиа* с другими вещами в нашем опыте влияют на значимость, которую мы приписываем этим вещам. Эта значимость не случайна, а происходит из сходства — иконичности — между *квалиа* и значениями, которые они вызывают¹⁰. Например, Энн Менли продемонстрировала, как признак «светимость», присущий оливковому маслу (как топливо для лампы или как признак пропитывания и свечения в других материалах), благодаря иконическому расширению сочетается с категориями духовности, мощи или жизненной силы¹¹. Юлия Чадага в статье «Объятия звезд: О телесных свойствах стекла в России», опубликованной в 120-м номере «НЛО»¹², предлагает нам еще один пример, демонстрируя, как советский авангард нашел в стекле идеальную материализацию таких качеств, как искренность и ясность. Таким образом, иконичность характеризует отношение между сенсорными качествами вещей, аффективными реакциями и языком, используемым для описания понятий, ценностей или эмоциональных состояний.

Иконичность не случайна, но в то же самое время она лишена детерминирующей силы. Не всякая культура предполагает связь между «легкостью» и пером. Важнее, однако, то, что не во всякой культуре «легкость» становится *квалисигнумом* процветания, как это происходит на меланезийском острове Гава¹³. Такая разновидность гомологического уравнивания различных сфер при помощи определенных *квалиа* (перья = легкость = процветание) нестабильна и получает силу через повторяющиеся социальные практики. В этом смысле *квалисигнумы* могут формировать эстетику, которая, в свою очередь, может распространяться на сферу социополитических космологий.

Важно отметить, что только некоторые из материальных свойств вещей можно использовать для означивания всегда, потому что качеств у объекта всегда больше, чем культура заимствует для осмысления. Наша восприимчивость отдельных *квалиа* вещи зависит от условий, натренированности и контекста — но эта восприимчивость может изменяться в зависимости от обстоятельств. Например, окаменевшая смола деревьев, которую мы зовем янтарем, обладает широким кругом потенциальных *квалиа*: она прозрачная, золотого цвета, может гореть, а также легко электризуется. Но только первые два значимы для янтаря при изготовлении ювелирных изделий. Этот избыток материальных качеств объектов, по словам Уэбба Кина, может работать как «средство трансформирующего давления на <...> системы смысла и прагматического действия»; он также может стать основой для возникновения смыслов и действий¹⁴. Другими словами: неожиданные трансформации материалов (как деформация кабинетной двери или потускнение цветов) переносят наше внимание на другие *квалиа* и заставляют переоценить объект, а возможно, деформировать и сами системы ценностей, связанные с ним. Непредсказуемость материала может служить источником перемен¹⁵.

В исследованиях на Гаве, проведенных Нэнси Манн, изменения материального мира, ведущие к появлению новых ценностей, остаются исторически

стабильными: вещи и люди — взаимные источники ценности друг друга, но сам по себе материал не служит катализатором разрушительных трансформаций. Тяжелые деревья с глубокими корнями регулярно превращаются в легкие каноэ, которые быстро перевозят людей по стремительным рекам. Кроме того, «легкие» тела, полные жизни, быстрые и не обремененные лишним весом, — идеал, рождающийся с каноэ и контрастирующий с пассивными и тяжелыми состояниями сна, болезни и смерти. Любые отклонения от этих траекторий считаются происками магов, которые пытаются тормозить и искажать эти позитивные изменения¹⁶. Чтобы понять менее стабильные ситуации, нам нужно обратиться к ситуациям, в которых радикальные изменения материальной среды и опыт проживания этих изменений оказался увязан с трансформацией или давлением на социополитические идеологии, давшие жизнь этой материальной среде.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МОДЕРН

Как и в других социалистических государствах региона, спланированный город Дунауйварош должен был создать формы общества и личности, отличные от капиталистических. Построенная окружающая среда должна была сыграть свою роль в превращении в основном сельского населения в городской пролетариат. И хотя строительство нового города в начале 1950-х годов было сталинистским проектом (его первым названием было *Сталинварош* — «город Сталина») и первые здания были возведены в соответствии с диктатом монументальных форм соцреализма, в целом он был спланирован согласно принципам модернистского градостроительства.

После 1960 года государство ввело новую технологию полносборного строительства из бетонных панелей и для жилых, и для административных зданий. Чтобы обставить новые модернистские квартиры и офисы, государство поддержало «современный» (*mai*) стиль. Он был популярен в континентальной Европе и Великобритании и состоял из массово произведенной утилитарной мебели, которая могла бы быть расставлена в свободной планировке¹⁷. Росту цен на продукцию препятствовало использование недорогих материалов и простых, прямоугольных форм без декоративных элементов¹⁸. Современный стиль беспрестанно пропагандировался в журнальных статьях, газетных передовицах и на мебельных выставках как единственный, который бы подходил для современной жизни в квартирах, а вкусы крестьянства и буржуазии высмеивались. В одной из сатирических сценок, показанных по телевидению, полная женщина в халате неистово руководила потными мужчинами, которые тщетно пытались вдвинуть гигантский шкаф в ее модернизированную квартиру¹⁹. Местная дунауйварошская журналистка утверждала, что «в моде простые линии, небольшие размеры, желательны легких цветов и форм», и обрушивала гнев на «бесполезные элементы декора, резных ангелов и колонны с завитками»²⁰. Особенно резко она отзывалась о том, чего не должно быть в современной квартире: монофункциональных пространств, таких как постоянная столовая или спальня. В кухне должен был оставаться обеденный уголок с пластиковым или другим легко моющимся покрытием. Свободная планировка помещала мебель «возле стены, так чтобы центр был свободным <...>, оставляя место для движения, работы, комфорта и уюта»²¹.

Осуждение культурной элитой материальных миров буржуазии и крестьянства выражалось на соматизированном языке загрязнения. Модернизм по-

зиционировался как очищающая сила, способная победить формалистские, темные и тяжелые качества буржуазной обстановки, столь полюбившиеся как настоящему крестьянству, так и городскому среднему классу. Квалисигнумы «легкости» и «чистоты» воплощались в легких по весу предметах мебели, светлых цветах и ярком солнечном свете, который льется в окна, освобожденные от громоздких штор. Сверкающие белые столовые приборы, гладкие поверхности покрытых линолеумом столешниц и полов, простые и упорядоченные прямые линии мебелировки позволяли людям вымести долой пыль и грязь вещей, связывавших их с прошлым. Невесомая мебель контрастировала с тяжелой обстановкой, доставшейся по наследству или приобретенной за годы супружества и хранимой всю жизнь, — «неотчуждаемая собственность», которая теперь превратилась в бремя. Эти предметы быта оказывались даже не патиной, а застоєм и гниением. Новая обстановка теоретически могла быть легко заменена еще более новой, «освобождая» тем самым людей от пут традиционных обязательств. Квалисигнумы легкости сочетались с «мобильностью», распространяя физический опыт движения и на изменяющийся социальный порядок. Неукрашенные окна и открытые пространства должны были освободить людей от клаустрофобных интерьеров и дать им возможность «дышать».

Имеет смысл на минуту задуматься над чудесными материалами, созданными руками человека, — пластиком и бетоном, которые превозносились за их «пластичность» и долговечность. Эти удивительные качества соответствовали духу времени и человеческой способности переступать ограничения и разрушительные силы природы, чтобы вступить в новый, смелый мир. На Западе послевоенный бум процветания позволил квалифицированному рабочему классу принять участие в новом, универсальном «цивилизованном» обществе, отмеченном не столько классовыми иерархиями, сколько своей модерностью.

Джейн Шнайдер обсуждает этот период в своем замечательном анализе взлета и падения полиэстера в США и Англии, напоминая нам, что эта ткань не всегда считалась предметом умолчания. Было время, когда полиэстер пользовался популярностью благодаря своим сочным расцветкам, отсутствию необходимости в глажке после стирки и ценам, при которых эту ткань мог позволить себе почти каждый. Положительные качества этого синтетического материала затмевали те ощущения (или квалиа), которые позже вышли на первый план и были представлены как невыносимые: «липкость» и «душе», из-за чего полиэстер стал описываться как ткань, которая не «дышит». В сравнении с историей хлопка — с каторжным трудом и разрушением окружающей среды во время его производства — история полиэстера представляла собой что-то вроде рассказа о ткани всеобщего равенства (качественный товар для масс), выбранной послевоенным поколением с его приверженностью ценностям нового, бесклассового общества²².

В социалистической Восточной Европе силы индустриализации использовались, чтобы убедить сельское население, глубоко верившее в «ограниченность благ»²³, что в новом обществе благ хватит на всех. Так технологии и искусственные материалы оказались тесно связаны с утопическими обещаниями. Вышедшая в 1967 году цветная реклама пластиковых подносов (рис. 3) иллюстрирует эту тенденцию, подчеркивая ценность пластика: его смелые, современные тона, его функциональную прочность по сравнению с деревом или фарфором: «ПЛАСТИК! Даже если вы будете прыгать по нему, он НЕ БЬЕТСЯ!» («Lakáskultúra», 1967).

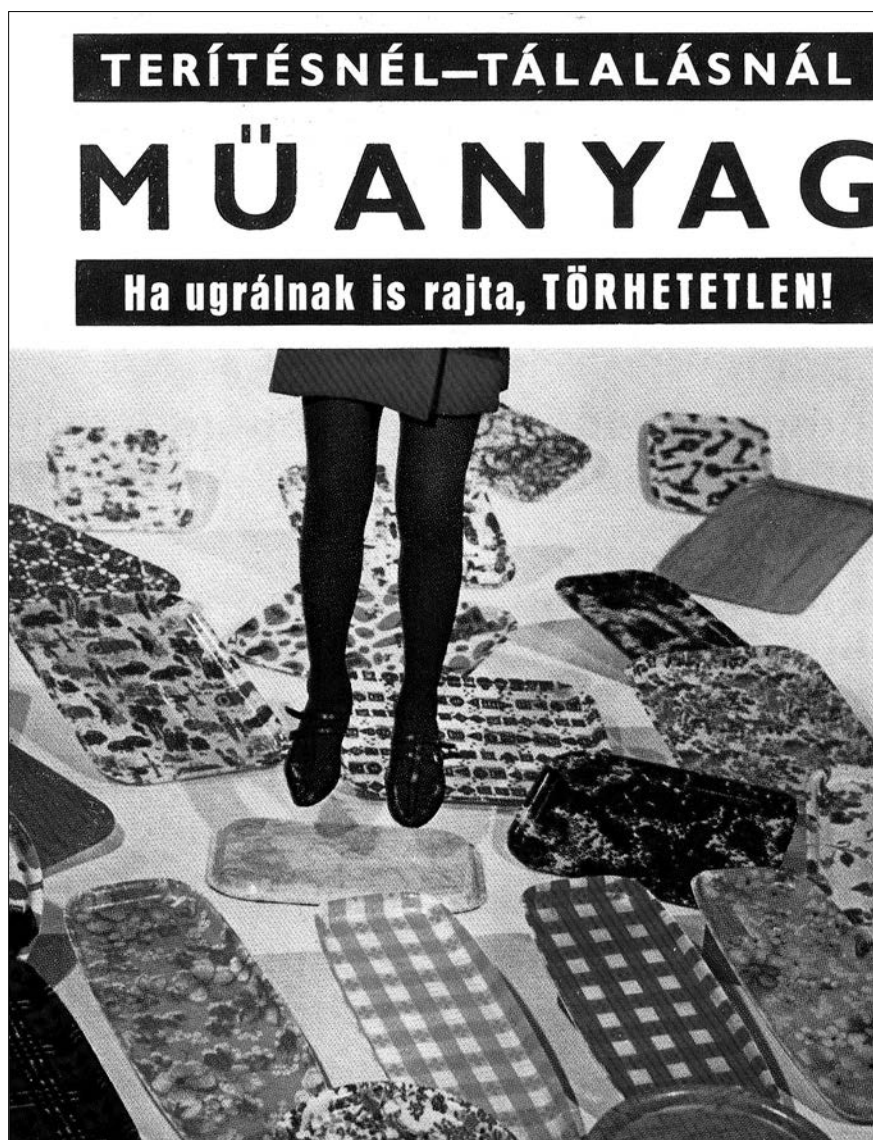


Рис. 3. Реклама кухонных принадлежностей из пластика в газете «Lakáskultúra» (1967); репринт любезно предоставлен Национальной библиотекой имени Сечени

К 1970-м годам иконография и риторика, клеймящие буржуазную домашнюю обстановку, успешно трансформировали эстетические склонности, перевернув прежние квалисигнумы ценности²⁴. Прежде всего это касалось молодого поколения, которое жило в новом городе и стремилось «принести модернизм домой»²⁵. Новая, современная мебель дискурсивно пропиталась прогрессивными идеалами и воплотила ощущения легкости, чистоты, мобильности, открытости и неформальности. Кроме того, эта эстетика оказалась ближе к современным тенденциям западного, а не советского дизайна²⁶. Правительства в Лондоне, Стокгольме и Нью-Йорке, как и в Москве, в 1960-е годы видели в новой технологии готовых панелей решение жилищных проблем и строили

эти дома в большом количестве. Венгрию накрыла волна медиаобразов рабочих, собирающих массивные блоки бетонных панельных квартир (рис. 4).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИПАЖ

Когда последствия нефтяного кризиса 1973 года затронули экономику стран соцлагеря, доверие к социалистическому модерну уже шло на спад. Реальный опыт материальности этого стиля редко соответствовал его дискурсивным эквивалентам; этот разрыв проявился достаточно четко в письмах редактору местной газеты Дунайвароша — уже вскоре после того, как первые жильцы въехали в свои новые панельные квартиры. Неприятным сюрпризом стали *panel bogár* («панельные жуки»), то есть тараканы («Dunaújváros Hírlap»,



Рис. 4. Реклама электроники, демонстрирующая гигантский телевизор, помещенный на место готовой бетонной панели, как будто его хотят поднять на новое здание (около 1970 года)

1969, 12 сентября). Голый бетон оказался отвратительным изолятором, пропуская жару летом и холод зимой. Звукопроницаемость стен создала особый жанр жалоб, в которых жильцы рассказывали о мучениях, причиняемых храпящими соседями²⁷. Утилитарная мебель оказалась действительно «легковесной», но в то же время ее было трудно достать, она была сделана из некачественных материалов по убогим моделям и отличалась высокой ценой.

Свободная планировка квартир рекламировалась как метафора и в то же время физическое воплощение социального равенства и мобильности, избавляющее от традиционных разделений комнат и пространств. Но на всем советском пространстве свободная планировка на практике использовалась не для того, чтобы снести стены между комнатами, а для того, чтобы собрать всех членов семьи в рамках одной небольшой «многофункциональной» комнаты и атомизировать их деятельность. И хотя социалистические многоквартирные дома были похожи по дизайну на свои западные аналоги, полезная площадь квартир в соцгородах была значительно меньше, а материалы, использованные при строительстве, оказались более низкого качества²⁸. И даже в 1970-е, когда на Западе здания такого типа стали методично сносить, в странах соцблока их производство повсеместно росло, создавая в итоге огромные районы с плотной застройкой, полностью состоящие из однообразных бетонных жилых домов, ставших символом государственного социализма.

Эти дешевые материальные блага и окружающая среда, некогда предлагавшиеся государством как дар, стали восприниматься как проявление презрения этого государства по отношению к своим жителям. Радикальный разрыв между феноменологическим опытом социалистического модерна и его риторикой открытости и свободы стал толчком к изменению аффективных ценностей. Социалистический модерн трансформировался в социалистический типаж. Материальные свойства массово произведенных низкокачественных товаров и жилья все чаще стали ассоциироваться с эмоциональным опытом отчуждения, вызванного соприкосновением с безликим и деспотическим государством²⁹. Искусственные материалы, когда-то иллюстрировавшие обещание изобилия для всех, теперь служили примерами самонадеянных попыток режима подчинить себе природу. Разница между социалистическим модерном и социалистическим типажом, надо заметить, лежит не в дизайне или форме, а в том, как жизненный опыт этих материальных миров способствовал переносу внимания с одних качеств на другие, изменяя ценность материальных предметов, а вместе с ними — и государственной идеологии. Эгалитаризм был дискредитирован отчасти потому, что оказался связан в повседневной практике со стандартизацией и однообразием. Сходным образом все рациональное и эффективное стало синонимичным дешевому и неудобному.

К 1980-м годам панельные дома стали парадигматическими пространствами «прошедшего будущего», то есть ассоциировались с мечтами о будущем того поколения, которое уже состарилось или умерло³⁰. И все же «ненормальность» предметов социалистического быта отчасти заключается в отрицании ими воздействий времени. Модернизм отвергал понятие патины или идею роста материальной ценности со временем и употреблением, предлагая взамен вневременной и неклассифицируемый стиль. Технологическое развитие делало возможной постоянную замену вещей предметами более продвинутой технологии — предметами, которые тем не менее все так же оставались в пределах бесстильного стиля модернизма. Панельные дома, как мне часто говорили информанты, строились на срок от 30 до 50 лет. Но экономика социализма испытывала постоянные трудности в удовлетворении спроса на

жилье и предметы потребления; замена быстро устаревающих вещей и зданий была нереальной. В то же время благодаря своим свойствам пластик и бетон быстро теряли в качестве. Дизайн, чья откровенная утилитарность должна была бы поставить точку в истории моды, сам вышел из моды.

ОРГАНИЦИСТСКИЙ МОДЕРН

Социалистический типаж подвергся значительным трансформациям «снизу» в период между 1960-ми и 1980-ми: семьи, вселившиеся в панельные квартиры, пытались превратить свои интерьеры в гетеротопные пространства, максимально удаляющие жильцов от среды внутри бетонных стен³¹. Среди популярных декоративных трендов особое место заняли органические формы, так называемые природные цвета и материалы (кожа, лен, хлопок) и традиционные предметы венгерского народного искусства, с помощью которых жильцы пытались придать «холодным», «серым» и «однообразным» материалам жизнь, цвет и характер.

В конце 1960-х годов интеллектуалы возродили интерес к «аутентичной» венгерской материальной культуре. На выходных они прочесывали деревни в поисках крестьянских артефактов типа декоративных кувшинов и расписанных вручную тарелок, которые можно было выставить на обозрение в городских квартирах. Самодельные объекты из глины, естественных тканей, кожи и кованого железа резко контрастировали с обезличенными товарами массового производства. В 1970-е годы эта тенденция охватила все социальные слои; женщины стали украшать традиционными венгерскими вышивками наволочки, салфетки и тканые подставки для столовых приборов. Когда я в детстве впервые приехала в Венгрию, я тоже испытала это воздействие на себе: моя двоюродная сестра, практикующий адвокат, научила меня вышивать цветными нитками. Крестьянство издавна романтизировалось как кладезь аутентичной венгерской *kultur*³², однако в 1970—1980-е годы эта практика возрождения традиционной материальной культуры стала особо политически значимой на фоне присутствия в стране советских войск. К 1980-м значимость этого тренда выросла на волне народного недовольства государственной политикой, которая игнорировала и тяжелое положение венгерских этнических меньшинств в соседних странах вообще, и судьбу около двух миллионов венгров в румынской Трансильвании в частности, подвергнутых гонениям при Николае Чаушеску. Стиль стал настолько популярен, что государство начало массовый выпуск народных тканей и керамики, и эти изделия, превращенные в товар, в свою очередь, покупались деревенскими жителями, переселившимися в большие города вслед за детьми³³. Одежда с национальными мотивами в 1980-е стала особенно популярной среди студенчества; студенчество же способствовало и широкому распространению сети домов народного танца³⁴.

В то время как город все сильнее насыщался бетоном, люди обклеивали стены своих квартир фотообоями с горными вершинами или лесными полянами, чтобы превратить четвертую стену в иллюзорное окно, распахнутое в мир дикой природы (мода, распространившаяся и в деревнях). Также популярными были деревянные оконные рамы, дополненные белыми шторами и горшками с геранями на стенах. Дерево стало центральным элементом попыток гуманизировать и утеплить холодную стерильность панельных бетонных стен. Оно также стало и знаком возвращения маскулинного присутствия в феминизированном пространстве городских квартир³⁵. Дерево индексировало маскулинную природу разнообразных самодельных проектов

и, как следствие, — возрождение «естественных» гендерных иерархий, подвергшихся искажению за годы социализма, когда женщины значительно снизили свою зависимость от мужчин благодаря участию в публичной сфере наемного труда.

Естественные материалы также внесли в квартиру ощущения внешнего мира, ассоциирующегося со «свежим воздухом» и полезной для здоровья деревенской почвой, — ощущения, которыми семьи часто наслаждались в выходные на дачах. Это обращение к естественным материалам возникло в то время, когда люди начали все больше заботиться о последствиях промышленного загрязнения, губительных для здоровья. Процент больных раком и распространение среди детей астмы в Дунауйвароше были непропорционально высокими, и жители обвиняли государство в соучастии в этом процессе: штрафы за загрязнение окружающей среды, установленные государством, были столь низкими, что завод предпочитал выплачивать их, а не устанавливать на трубах дорогие фильтры. Хотя для многих ученых Чернобыль оказался событием, которое впервые заставило западный мир признать тот факт, что эксперты далеко не всегда могут удержать под своим контролем социальные «риски»³⁶, для венгров Чернобыль стал лишь крайней степенью проявления того, что они и так давно знали: Советскому Союзу и экспертам в социалистических правительствах доверять в вопросах общественного благодеяния нельзя³⁷. Попытки внести природу в дом воспринимались как способ сделать окружающую среду более здоровой. Например, домашние растения должны были улучшить ужасное качество воздуха в зданиях, стены которых «не дышат».

Замещение и маскировка «искусственных» материалов с помощью, условно говоря, их естественных аналогов происходили рука об руку с усиливающимися проклятиями в адрес модернистского «эксперимента», устроенного социалистическим государством с богоподобными амбициями. Эти амбиции проявлялись в виде попыток тотально контролировать будущее с помощью централизованного планирования, а также в уверенности в превосходстве человека над природой и желании искоренить веру в любые силы, кроме принципов научного марксизма-ленинизма. Социалистический проект ставил материальный мир в привилегированное положение, одновременно подавляя присутствие духовного своей верой в безграничную силу промышленности и научного знания. Искусственные материалы и промышленные технологии из агентов освобождения превратились в агентов угнетения, став его своеобразной материальной основой, придав ему опыт материальности (например, в виде бетона или пластика), не встречающийся «в природе». Бетон и пластик часто представлялись «холодными» материалами, поглощающими тепло и препятствующими временным процессам трансформации (готовка, закваска, гниение и удобрение ростков нового³⁸). Такие вещества, сделанные руками человека, во многих смыслах отражали теорию и практику государственного социализма.

Сохраня торжество вневременного будущего со всей его безжалостностью, социалистическое государство было способно заменить светскими ритуалами традиционные ритуалы крещения, взросления, венчания. Но социалистическое государство так и не могло решить, что делать с главным триумфом природы — смертью³⁹. В итоге общее внимание с долговечности, которая изначально считалась ключевым свойством таких синтетических материалов, как ПВХ, стало смещаться в сторону проблем, связанных с «неестественной» сопротивляемостью этих материалов законам разложения и умирания.

Мы можем проследить взаимосвязи материальных свойств (или квалисигнумов) в повествованиях о семейных парах, вселившихся в бетонные многоэтажные дома, — в нарративах, которые приобрели поразительно формульный характер в таких популярных изданиях, как государственный журнал о домашнем декоре «Lakáskultúra». Например, статья 1983 года о крошечной (24 м²) «малосемейной» квартире хвалила молодоженов за то, что они нашли место и для выделения «интимного» уголка для постели, и для своей «страсти» — коллекционирования предметов старины. В этой квартире жизненные силы породились деревянными полами, стеллажами из темного дерева (сделанными мужем), оленьими рогами и кожей животных, а также «льняной тканью, которая излучает тепло», разложенной в обеденном уголке⁴⁰. В этом описании не может быть проигнорировано то обстоятельство, что уровень рождаемости в Венгрии долгое время был слишком низким для поддержания численности населения: настолько активно здесь подчеркивается, как материалы рожают и тепло (и жизнь), и интимные пространства для половых отношений.

Мое знакомство с сотнями фотографий интерьеров показывает, что средний класс венгерского общества тянулся к «естественным» прочным субстанциям (дерево, камень) и к новшествам, которые служили по крайней мере индексами — пусть лишь иллюзорными — свежего воздуха и неограниченных пространств мира природы. Эти фотографии также наводят на мысль о стремлении к неформальности и открытости, обещанных, но не реализованных социалистическим модерном. Такая привязанность к более уютной окружающей обстановке неотделима от аффективного отчуждения от существующего политического порядка. Как я покажу в следующем разделе, эта привязанность породила особое влечение к противоположному социальному устройству — демократической системе свободного рынка⁴¹.

Более формальные выражения этого же движения возникли еще в 1960-х годах среди профессиональных архитекторов. Одна группа, например, попыталась дополнить социалистический модерн такими противоречивыми новшествами, как раскрашивание панельных домов гигантскими красными тюльпанами — фольклорным мотивом⁴². Другие категорически отрицали то, что называли дегуманизирующей архитектурой, связанной с «доминированием бюрократии и строительной промышленности над архитектурным творчеством»⁴³. Вынужденная занять позицию диссидентов, эта неформальная группа архитекторов-органицистов защищала местные формы зодчества, которые «выросли из венгерских традиций и искусных навыков таких деревенских ремесленников, как резчики по дереву, и заново связали людей с природной духовностью»⁴⁴. К концу 1970-х два ведущих представителя этой группы, Дьердь Чете и Имре Маковец, стали приобретать все большее влияние как внутри, так и вне официального сообщества профессиональных архитекторов. Чете понимал органику как «нечто глубоко укорененное в душе родной традиции» и отрицал какие бы то ни было резкие углы при строительстве зданий, видя в них прежде всего убежища и святилища⁴⁵. Маковец заимствовал народные формы и фольклорное искусство (вдохновляясь при этом Рудольфом Штейнером), но расширил их лексикон, включив в него анатомию человеческого тела и кельтские и дальневосточные мотивы как «память о сходном коллективном бессознательном»⁴⁶. Он представлял свою архитектуру как «защитную магию, противостоящую всем безликим силам» — коммунизму, а после 1990 года и корпоративному капитализму⁴⁷.

До 1980-х годов, когда режим начал испытывать финансовые трудности с проведением дальнейших реформ в направлении экономической либера-

лизации, взгляды этих архитекторов и их проекты были известны в Венгрии довольно мало⁴⁸. И их растущую популярность нужно рассматривать скорее как часть более широкой народной эстетики этого периода, чем как стиль, изобретенный профессионалами и усвоенный простыми людьми.

Несмотря на то что органицистские перемены задумывались в первую очередь как противоположность социалистической типовой эстетике, они не были возвращением к миру буржуазной материальности. Не были они и возвратом к домодернистскому традиционализму. Скорее, они являлись согласованной попыткой произвести на свет более «гармоничный» модернистский стиль, который смог бы на практике реализовать некоторые мечты социалистической модерности и в то же время избавиться от других элементов соц-модерна как еретических и противоестественных. Природные материалы, органические формы и фольклорные мотивы оказались эмоционально увязаны с такими понятиями, как духовность, автономия, индивидуальность, творческое выражение и национальная гордость. И хотя эта эстетика была схожа со скандинавскими модификациями западного модернистского дизайна (вспомним ИКЕА), в Венгрии она выросла из опыта повседневности, специфически связанного с материальным миром государственного социализма.

СВЕРХ-ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОРГАНИЦИЗМ

После коллапса социализма в 1989—1990 годах в новом, независимом Венгерском государстве органицистская эстетика переместилась с маргинальных позиций на место официальной идеологии в сфере дизайна. В 1992 году Имре Маковец был избран представлять страну на Всемирной выставке в Севилье, и его павильон уже больше не мог считаться оппозицией социалистическому модерну. Вывернув наизнанку модернистскую парадигму куба с плоской крышей, Маковец спроектировал здание, которое почти полностью скрыла крыша из шифера. Она была сделана из натуральных материалов, ни один стык деревянных балок не был похож на другой, а собиравшие его умельцы не пользовались электрическими инструментами. В противовес модернистскому акценту на будущем, начинающемся с чистого листа, центром этого здания стало дерево с видимыми сквозь стеклянный пол корнями — символ укорененности нации в прошлом, растущем в будущее⁴⁹.

По всей стране местные городские советы, ставшие независимыми, стали активно использовать органицизм, чтобы изменить или замаскировать типовой социализм публичных городских мест. К горсоветам присоединялись частные коммерческие организации, заинтересовавшиеся новой задачей «привлечения» людей, торговли и денег. Витрины и интерьеры новых приватизированных пространств — бары, кафе и театральные фойе — стали своеобразными холстами для реализации самых разных фантазий — от навороченного индустриального шика до стильного постмодерна. Расширяя свои границы, органицизм стал стилем, подходящим даже для магазинов бытовой и компьютерной техники. И, как мы уже это видели в начале статьи, итогом этого развития стало доминирование органических мотивов в экстерьерах новых частных жилищ.

Вряд ли можно видеть в этих эстетических трансформациях материального окружения лишь пассивное отражение политических изменений. Наоборот, они внесли ощутимый вклад в становление новых политических идеологий. В Венгрии «смена режима» в 1989 году прошла спокойно, в сотрудничестве между оппозиционными партиями и бывшей номенклатурой

Венгерской коммунистической партии. Но, хотя чистки среди лидеров компартии не произошло, политический курс и реформы нового государства начали осуществляться в виде оппозиции коммунизму. Ни одна политическая партия не попыталась стать партией рабочего класса, а Партия социалистических рабочих Венгрии избавилась от «рабочих» в своем названии. Вслед за выводом советских войск на волне торжествующего венгерского национализма к власти пришло первое демократически избранное правительство, которое подняло вопрос о венгерских меньшинствах в сопредельных странах. Сравнительно быстро националистические чувства стали вызывать рознь. Вспышка гражданской войны в 1990 году в соседней Югославии быстро лишила романтического ореола доктрину национального самоопределения. Внутри страны многие граждане низшего и среднего класса, испытывая экономические трудности, стали выражать недовольство экономическими льготами, которые правительство Венгрии предоставило венгерским иммигрантам из Румынии. Расписанные вручную народные кувшины и вышитые наволочки начали незаметно исчезать из венгерских домохозяйств.

После четырех горьких лет жизни при «становящейся демократии» в 1994 году венгерские избиратели отказали в доверии националистическим партиям и вновь выбрали реформированную Венгерскую социалистическую партию, построившую свою предвыборную кампанию на образе опытного лидерства и обещаниях защитить социальные льготы. Однако вместо того, чтобы снизить темп неолиберальных реформ, социалисты объединились с прорыночным Альянсом свободных демократов и ввели суровые меры, продиктованные Всемирным банком и МВФ. Спустя четыре года социалисты были смещены Венгерской гражданской партией (Альянсом молодых демократов), опиравшейся в своей национальной и гражданской риторике на избирателей среднего класса. В венгерской политике в итоге утвердилась жесткая поляризация между Венгерской социалистической партией, либеральной в социальном плане и неолиберальной в финансовом, и консервативно-протекционистской националистической партией. Хотя оба полюса претендовали на защиту интересов нации и благосостояния своих избирателей, никто не мог бы обратить вспять волну приватизации и реформ социальной политики. Это исходило, с одной стороны, от международных финансовых институтов и предпосылок членства в Европейском союзе, а с другой стороны, от условий участия в глобальном капитализме.

Несмотря на широко распространенное разочарование в капитализме и демократии, материальный мир социалистического модерна продолжал формировать политических субъектов. Панельные многоэтажки все еще возвышались над горизонтом, давая кров четверти с лишним населения страны. Эстетика органицистского модерна структурировала постсоциалистические мечты о специфических формах зданий, мебели и дизайне, которые должны были бы прийти на смену типовому социализму. Это стремление было характерно для обеих сторон политического водораздела: и защитники неолиберальной экономики, и энвайронменталисты, и националисты брали курс на отрицание государственного социализма с его потрескавшимся бетоном⁵⁰. Эта эстетическая чувствительность способствовала принятию неолиберальных идеологий даже тогда, когда они входили в противоречие с опытом выживания в условиях экономического кризиса, безработицы, радикального неравенства доходов и развала в медицинской, образовательной и транспортной сферах.

В медиа и в публичном дискурсе изменившийся домашний декор часто описывался с помощью тех же идиом, что и «освобождение» Венгрии от совет-

ского диктата и ее политическое и экономическое «превращение» из социалистического государства в «открытое общество» и «свободный рынок». В определенном отношении эти совпадения не были новыми. Прямолинейные формы и безликость типового бетонного жилья в течение многих лет приравнивались к закрытым границам, недостаткам плановой экономики и ограниченному репертуару выразительных средств, связанным с авторитарностью государства. Когда горожане расширяли окна, сносили межкомнатные стены или строили «американскую кухню», не отделенную от общего пространства квартиры, они, конечно, исходили из своих реальных возможностей по расширению и раскрытию жилой зоны. Но наряду с этим в постсоциалистические 1990-е люди нередко объясняли мотивы изменения жилых пространств в таких выражениях, как «Бежать от прямых углов!» и «На свободу из стандартных кубометров!», как бы направляя в определенное русло освобождение Венгрии от ограничивающей власти коммунизма. В контексте регулярных разговоров о «жизни за стеной» и «жизни, отгороженной от остального мира»⁵¹, эти выражения тесно переплетали повседневный опыт материальной среды с собственным опытом политической жизни в закрытой стране. Мои собеседники в Дунауйвароше разделяли риторику журналов, посвященных дизайну интерьеров, в которых прямые линии и углы жилищ сопоставлялись с метафорическим заключением в тюрьму и на страницах которых постоянно публиковались статьи с названиями типа «Вырваться из нормализованного порядка». Попытки вырваться из душных квартир на «свободу» и «свежий воздух» переводились на язык соматики при помощи постоянных ссылок на «дыхание»⁵². Карой, одинокий тридцатилетний менеджер, с гордостью показал мне свою обновленную квартиру в Дунауйвароше, где были снесены стены, отделяющие прихожую от остальной квартиры, постелен пробковый пол, а на месте балкона выстроена «американская кухня». Стоя в центре этого свободного пространства, он воскликнул, широко раскинув руки: «Здесь я могу дышать!»

Осуждение «неестественных» прямых углов сочеталось с торжеством округлых форм, асимметрией и эклектикой в форме и цвете. Все эти качества считались залогом процветания, творчества, воображения, способствующими «свободе импровизации» (название одной особенности дизайна интерьера)⁵³. Бывшая школьная учительница, пытающаяся прожить на свою маленькую пенсию, в то время как государство последовательно ликвидировало социальные льготы, тем не менее восхищалась разноцветными новыми домами, мимо которых проезжал наш автобус. Она с гордостью вспоминала, как тоже вводила элементы игры в обстановку своей маленькой квартиры и какое удовольствие испытала, когда заменила мощную стену, отделявшую ее спальню уголком от гостиной, на стену из стеклянных блоков, пропускающую солнечный свет вовнутрь.

«Сказочный» (*mese*), «волшебный» (*varázslatos*) и «очаровательный» (*elbűvölő*) — эти прилагательные постоянно использовались для описания домов и интерьеров. В отличие от новых зданий с башенками и большими подъездами, часто критикуемыми за претенциозность нуворишей, хоббитовская приземленность и по-детски радостные свойства этих проектов в основном вызывали удовольствие. Статья 1998 года, озаглавленная «Сказочный домик в Дабаше»⁵⁴, описывает, как гостя приветствует очаровательный внутренний вид с невероятно богатой игрой красок, форм и идей. Интервьюер превозносит его «экстравагантность, влияние Хундертвассера (австрийский художник-архитектор. — К.Ф.); это курьез, арлекинаж, пощечина буржуазному вкусу». В то же время владелец объяснил, что при проектировании дома он настаивал на том, чтобы «построить дом, который бы отличался от обычных образцов,

но при этом оставался бы функциональным». Он подчеркнул, что «дом дарит своим жильцам душевный комфорт» — качество «более важное, чем функция»⁵⁵. Вызывая в памяти чувство близости, связанное с семейным покоем и веселой беззаботностью детства, эти интерьеры откровенно противостоят публичности архитектуры государственного социализма с ее аскетическим функционализмом и недостатком пространства для интимных отношений или духовного роста. Игра, фантазия и цвет выступают здесь открытым отрицанием таких ценностей социалистического модерна, как эффективная функциональность, производительность, ответственность и жертвенность⁵⁶.

Постсоциалистические перестройки нашли выражение и в языке индивидуализма и автономии. Сожалая о росте социального неравенства, люди, однако, настаивали на индивидуальных потребностях в выражении творческих различий и на необходимости давать выход здоровому, «естественному» чувству соперничества. Журналистка местной сталелитейной газеты выразила общий настрой, описывая феномен квартирных обновлений:

Я хочу чего-то другого, уникального, чтобы мое не было похоже на соседское <...>, чтобы оно выделялось на фоне серости, обыденности и панельных толщ. Пусть я ничего не могу сделать с наружными стенами, но по крайней мере я могу волшебным образом изменить все внутри, дав выход моей индивидуальности. Я не хочу жить в массовой застройке. Я хочу дом, настоящий, где могло бы отдохнуть не только мое тело, но и мой дух⁵⁷.

КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ, КАЧЕСТВА ЛЮДЕЙ

Высокая степень морализаторства, сопровождавшая процесс «материализации» «венгерских» ценностей, помогла легитимировать появление и становление среднего и зажиточного класса. Аффективная привлекательность органицистской эстетики новых жилых пространств сделала их неуязвимыми для критики. Действительно, моральное превосходство, связанное с привилегированным положением природных материалов, отразило непрекращающуюся критику модернистского проекта, включая и его «искусственные» попытки искоренить социальную стратификацию.

Социалистическое государство установило твердое соответствие между качествами материалов и качествами людей — соответствие, которое было безоговорочно воспринято и новой коммерческой риторикой. Фундаментальное отличие заключается в том, что при новом порядке государство больше не несет ответственность за предоставление рабочему классу «пригодного для жизни» пространства. Рыночная экономика может обеспечить «качественными» материалами только тех, кто в состоянии за это заплатить, тем самым объединяя множество полезных свойств качественных материалов с престижем, имеющим вполне определенную цену.

По контрасту, городской пролетариат и те, кто не имеет возможности принять участие в обживании этих материальных миров, однозначно воспринимаются как исчезающие остатки типового социализма. Телесный рефлекс отращения, вызванный изношенностью дешевых материалов и безличной стерильностью среды, увязан теперь и с социальными группами, когда-то олицетворявшими социализм. Это уравнивание делает очевидным знаковая статья во все еще популярном национальном журнале о домашнем декоре, в которой чета молодых профессионалов расхваливается за то, что они смогли «создать относительно приятный, годный для жизни и даже симпатичный дом из печально известного мира» панельного жилья. Чтобы добиться такого ре-

зультата, пара была вынуждена «избавиться от всего того, что можно обычно увидеть в панельной квартире: двери из древесноплиты, унылый ковер и обои в гостиной — все, что характерно для вкуса нетребовательных людей»⁵⁸.

Дафна Бердаль проследила формирование сходной системы оценок в том, как *wessi* (*Wessi*, жители бывшей Западной Германии) в начале 1990-х годов описывали *ocsi* (*Ossi*, жителей ГДР):

Осси можно узнать по бледным лицам, жирным волосам, плохой стоматологии, застиранным бесформенным джинсам, скучной серой обуви и акриловым пакетами. Они пахнут потом, дешевыми духами или (как один *wessi* сказал ей. — *К.Ф.*) «каким-то странным дезинфицирующим средством»⁵⁹.

Человеческие тела здесь прописываются с помощью материальных свойств неестественного модернизма: безликих тел с плохими зубами, ставшими наиболее очевидными свидетельствами бедности и распада. Их ценность — как работников и как телесных субстанций — приравнивается к инертным, типовым товарам, произведенным в массовом количестве из искусственных, а не аутентичных, живых, «природных» материалов. В итоге низкопробное качество социалистических товаров из жупела репрессивного государства, подавляющего рабочих, превращается в качество самих рабочих. Осуждение низкопробной продукции переносится с социалистической системы как формы производства на самоочевидное низкопробное качество труда и на неотъемлемую черту социалистического рабочего класса — его «нетребовательную» (*igénytelen*) природу.

Появляющийся средний класс также постарался дистанцировать себя от еще одной маргинализованной группы — крестьянства, долгое время ассоциировавшегося как с добром, природностью и здоровой почвой, так и с имбецильной отсталостью. Как мы видели в начале статьи, органицизм новых пригородных домов подавался не как «возврат к природе», но как переход к *сверх*-естественному состоянию. Хотя эти материалы указывали на отличие от необработанной «природы» у крестьянства, они и сами трансформировались с помощью могущественных технологий в высококачественные товары для взыскательных потребителей. Например, соломенные крыши новобуржуазных домов покрывались негорючими водонепроницаемыми материалами. Итальянская черепица, похожая на грубо обтесанные камни полов в средневековых замках или терракоту римских бань, произведена с использованием новейшей технологии, стойкой к давлению. По сравнению с пластиком, не имеющим природных аналогов, материалы, которые выглядят и ощущаются как натуральный камень, — другими словами, имеют квалиа камня, — индексируют природное происхождение, несмотря на то что мы легко можем заметить искусственность подобной категоризации.

Эта черепица и другие высококачественные строительные материалы выражали моральное превосходство жизни в гармонии с природой по сравнению с доминированием над ней. Кроме того, как показывают покупательские отзывы на черепицу «Vramac», немалую роль в ее популярности сыграла увязка темы высокого качества и долговечности материала с моральным проектом по обеспечению условий жизни для будущих поколений и по созданию в доме материальной стабильности. Высокая цена этих товаров свидетельствует об их собственном качестве, а также о качестве тех, кто может себе позволить покупку этих товаров. Высококачественные материалы в пригородных частных домах легитимируют людей, укрывшихся в них, как членов уважаемого среднего класса Венгрии. Их существование как людей с моральными прин-

ципами стало возможным благодаря особому энтузиазму, с которым они восприняли власть естественного порядка вещей, включившего в себя как свободный рынок, так и естественный жизненный цикл. По существу, они заслужили такой материальный мир, где природа улучшена и управляема, — мир, который поможет им прожить долгую и здоровую жизнь.

КАЧЕСТВО И НЕРАВЕНСТВО

Связи между эстетическими идеологиями домашнего декора и политическими космологиями не оборвались. В 2010 году венгерский народ проголосовал за правые и ультраправые партии, программа которых провозглашала возвращение к протекционистскому регулированию рынка и национальную независимость перед лицом бюрократического контроля Европейского союза (не говоря уже о том, что эти партии обещали решить «цыганский вопрос», немало беспокоящей нацию). Как отмечает Ким Лейн Шеппели в статье «Конституционный трепет»⁶⁰, правящая партия «Фидес» попыталась оправдать переписывание конституции Венгрии, назвав его проектом по очищению нации от наследия коммунизма. Растущей популярности ультраправых во многом способствовало творческое использование ими Интернета и социальных сетей. Однако свою роль сыграла и привязка к антисоциалистическим, органицистским материям. В 1990-е годы присутствие некоторых аспектов этих материй можно было заметить при попытках венгров идентифицировать себя в качестве морального и цивилизованного европейского среднего класса. Однако к 2004 году, когда Венгрия получила право войти в Европейский союз (но не в еврозону), энтузиазм по поводу «вхождения в Европу» уже значительно уменьшился. Последующий опыт жизни в рамках ЕС почти свел на нет стремление «в Европу». В 2008 году Венгрия сильно пострадала от финансового кризиса. Членство в Евросоюзе начало сравниться с членством в социалистическом блоке под руководством СССР⁶¹. Эти ассоциации стали возможными отчасти благодаря аффективным реакциям на безликую и нивелирующую бюрократию господствовать издалека.

Внимание к свойствам вещей заставляет нас помнить, что мы больше не можем видеть в различных качествах товаров, заполнивших материальные миры, лишь свидетельство «социальной сконструированности» или пример «товарного фетишизма». Поступая так, мы игнорируем радикальные различия между тем, как люди воспринимают «качество» материального мира, и тем, как этот мир на них воздействует. Как нам относиться к тому, что некоторые материалы — скажем, черепица «Vramac» — действительно лучше, особенно когда речь идет о защите семьи от разрушительных действий природы (огонь, град, ветер) и времени? Есть немало оснований для того, чтобы испытывать страх по поводу монструозных продуктов, созданных по современным технологиям, и начинать поиск сверх-естественных решений в материалах, которые и сами не опасны, и способны защитить нас от опасностей. Нередко можно услышать, что платить дополнительную цену за органическое молоко для наших детей или за «природные» материалы для наших домов — это абсолютно разумно и этично. Трагическим следствием такого морально оправданного стремления к качеству является производство и легитимация неравенства. Моральные дилеммы, рожденные сверх-естественными вещами, и их мощное влияние дают пищу для размышлений о том, как эти материи касаются нас.

Пер. с англ. Николая Поселягина

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Panelház* в венгерском языке, *panelák* в чешском и словацком, *панелки* по-болгарски.
- 2 *Callmeyer F., Rojkó E. Hétfévi házak-nyaralók.* Budapest: Müszaki Könyvkiadó, 1972. 5. oldal.
- 3 *Bourdieu P.* Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977; *Idem.* Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste / Transl. by R. Nice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984.
- 4 *Humphrey C.* Ideology in Infrastructure: Architecture and Soviet Imagination // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2005. № 11. P. 39–58.
- 5 *Holston J.* The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasília. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
- 6 Эта статья представляет собой краткую версию выводов, сделанных в моей книге: *Fehérváry K.* Politics in Color and Concrete: Socialist Materialities and the Middle-class in Hungary, 1950–2000. Bloomington: Indiana University Press, in press. Полевые исследования проводились в Дунайвароше в 1996–1997 годах и во время коротких поездок в 2000, 2004 и 2008 годах, а также в течение моих более ранних визитов в новый соцгород в 1970–1980-е годы. Наиболее важными из печатных и визуальных медиаресурсов стали городская газета (1951–1958) и статьи в национальном журнале «Lakáskultúra», посвященном домашнему интерьеру. Это популярное и влиятельное издание представило на своих страницах сотни образцов жилых интерьеров, принадлежащих гражданам среднего достатка. Наши связи с материальным миром остаются по большей части непроговоренными (*Miller D.* Appropriating the State on the Council Estate // Man. 1988. Vol. 23. № 2. P. 253–272), и эстетический выбор зачастую происходит неосознанно, даже если он и сформирован обществом (ср.: *Bourdieu P.* Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste). Таким образом, материальные объекты и конфигурации являются семиотической невербальной формой выражения (*Auslander L.* Beyond Words // American Historical Review. 2005. October. P. 1015–1045). Фотографии интерьеров вместе со знанием об их материальных качествах — это документальные свидетельства тех способов, при помощи которых люди пытались «создать» свое домашнее пространство.
- 7 См., например: *Munn N.* The Fame of Gawa: A Symbolic Study of Value Transformation in a Massim (Papua New Guinea) Society. Durham, N.C.: Duke University Press, 1986.
- 8 *Qualisign* образовано от *qualia* — свойство и *sign* — знак. — *Примеч. ред.*
- 9 *Keane W.* Subjects and Objects // Handbook of Material Culture / Ed. by C. Tilley, W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands, P. Spyer. London: SAGE Publications, 2006. P. 188–189.
- 10 См.: *Irvine J., Gal S.* Language Ideology and Linguistic Differentiation // Regimes of Language: Ideologies, Politics, and Identities / Ed. by P.V. Kroskrity. Santa Fe: School of American Research Press, 2000. P. 35–84; *Manning P., Meneley A.* Material Objects in Cosmological Worlds: An Introduction // Ethnos. 2008. Vol. 73. № 3. P. 285–302.
- 11 *Meneley A.* Oleo-Signs and Quali-Signs: The Qualities of Olive Oil // Ethnos. 2008. Vol. 73. № 3. P. 303–326.
- 12 *Чадага Ю.* Объятия звезд: О телесных свойствах стекла в России // НЛО. 2013. № 120. С. 54–74.
- 13 *Munn N.* Op. cit.
- 14 *Keane W.* Op. cit. P. 200.
- 15 Примеры, которые я здесь использую для иллюстрации того, как сильно материал влияет и контролирует человеческую деятельность, довольно невинны. Более драматический пример — доклад Диего Кагуеньяса «Бесстрашие камней в центре катастрофы» («The Impassivity of Stones and the Heart of Disaster») о результатах стихийных бедствий, представленный на конференции «Objects of Affection: Towards a Materiology of Emotions» (Принстонский университет, 4–6 мая 2012 года).

- 16 *Munn N.* Op. cit.
- 17 См. обсуждение советских примеров: *Buchli V.* Khrushchev, Modernism, and the Fight against Petit-bourgeois Consciousness in the Soviet Home // *Journal of Design History*. 1997. Vol. 10. № 2. P. 161–176; *Gerchuk I.* The Aesthetics of Everyday Life in the Khrushchev Thaw in the USSR (1954–64) // *Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe* / Ed. by S. Reid, D. Crowley. Oxford: Berg, 2000. P. 81–99; *Reid S.E.* Destalinization and Taste, 1953–1963 // *Journal of Design History*. 1997. Vol. 10. № 2. P. 177–201. О восточногерманской версии см.: *Stade R.* Designs of Identity: Politics of Aesthetics in the GDR // *Ethnos*. 1993. Vol. 3–4. P. 241–258. О шведском воплощении того же принципа см.: *Löfgren O.* Consuming Interests // *Consumption and Identity* / Ed. by J. Friedman. Chur, Switzerland: Harwood Academic Press, 1994. P. 47–70.
- 18 *Vadas J.* A magyar bútor száz éve: Típus és modernizáció. Budapest: Fortuna, 1992.
- 19 *Papp G.Zs.* Budapest Retró: Életképek a 60-as, 70-es évekből. Budapest: Art Editor Stúdió, 1998.
- 20 *Bars S.* Modern lakás – modern bútor. A lakásberendezés új művészete // *Dunaujvárosi Hírlap*. 1963. December 6.
- 21 Ibid.
- 22 *Schneider J.* In and Out of Polyester: Desire, Disdain and Global Fibre Competitions // *Anthropology Today*. 1994. Vol. 10. № 4. P. 2–10.
- 23 *Foster G.* Peasant Society and the Image of Limited Good // *American Ethnologist*. 1965. Vol. 67. № 2. P. 293–315.
- 24 *Munn N.* Op. cit.
- 25 *Attfield J.* Bringing Modernity Home: Writings on Popular Design and Material Culture. Manchester: Manchester University Press, 2007.
- 26 См., например: *A Lakás / Szerkesztette G. Bánkuti.* Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1958.
- 27 *Berényi J.* Szekrényfalak: Uniformizált vagy öltöztet? // *Lakáskultúra*. 1976. № 3. 3–5. oldal.
- 28 Средняя квартира в Швеции, построенная в рамках «Программы миллиона», состояла из трех комнат и была площадью около 75 м². В Венгрии большинство квартир были одно- или двухкомнатными и только 30–50 м² площадью, сильно влияя на организацию семейной жизни.
- 29 *Fehérváry K.* Goods and States: The Political Logic of State-socialist Material Culture // *Comparative Studies in Society and History*. 2009. Vol. 51. № 2. P. 426–459.
- 30 *Koselleck R.* Futures Past: On the Semantics of Historical Time / Transl. by K. Tribe. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985.
- 31 См. также: *Miller D.* Op. cit.
- 32 *Hofer T.* Construction of the «Folk Cultural Heritage» in Hungary and Rival Versions of National Identity // *Ethnologia Europaea*. 1991. № 21. P. 145–170.
- 33 *Nagy K.S.* Lakberendezési Szokások. Budapest: Magvető Kiadó, 1987.
- 34 *Taylor M.* The Politics of Culture: Folk Critique and Transformation of the State in Hungary. Ph.D. dissertation. New York: Department of Anthropology, City University of New York, 2008.
- 35 См. также: *Drazin A.* A Man Will Get Furnished: Wood and Domesticity in Urban Romania // *Home Possessions* / Ed. by D. Miller. Oxford: Berg, 2001. P. 173–199.
- 36 *Beck U.* The Anthropological Shock: Chernobyl and the Contours of the Risk Society // *Berkeley Journal of Sociology*. 1987. Vol. 32. P. 153–165.
- 37 *Harper K.* Wild Capitalism: Environmental Activists and Post-Socialist Ecology in Hungary. Boulder, C.O.: East European Monographs, Columbia University Press, 2006.

- 38 Ср.: Weiss B. The Making and Unmaking of the Haya Lived World. Durham, N.C.: Duke University Press, 1996. P. 76.
- 39 Black M. Death in Berlin: From Weimar to Divided Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- 40 Varga J. Minilakások: Szoba-konyha VOLT // Lakáskultúra. 1983. № 2. 22–23. oldal.
- 41 Марта Ламплэнд демонстрирует, как колхозники переживали социалистическую технократическую организацию, которая противостояла их работе в собственном втором хозяйстве. Это было еще одной сферой, в которой свободный рынок считался вознаграждением за тяжелый труд и делал ценностью автономию: *Lampeland M. The Object of Labor: Commodification in Socialist Hungary*. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
- 42 Új építészeti, új társadalom 1945–1978: Válogatás az elmúlt évtizedek építészeti vitáiból, dokumentumaiból / Szerkesztette M. Major, J. Osskó. Budapest: Corvina Kiadó, 1981; *Molnár V. Cultural Politics and Modernist Architecture: The Tulip Debate in Postwar Hungary* // *American Sociological Review*. 2005. Vol. 70. P. 111–135.
- 43 *Ferkai A. Hungarian Architecture in the Postwar Years* // *The Architecture of Historic Hungary* / Ed. by D. Wiebenson, J. Sisa. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998. P. 290.
- 44 *Heathcote E. Hungary: The Organic and the Rational Traditions* // *Architectural Design*. 2006. Vol. 76. № 3. P. 34–39.
- 45 *Ferkai A.* Op. cit. P. 290.
- 46 *Ibid.* P. 291.
- 47 *Ibid.* См. также: *Heathcote E. Imre Makovecz: The Wings of the Soul*. London: Wiley Europe, 1997.
- 48 *Crowley D. Organic Architecture* // *Design and Culture in Poland and Hungary: 1890–1990. A Tempus «Design for Industry: East / West Europe» Reader Produced by the University of Brighton* / Ed. by D. Crowley. Brighton: University of Brighton, 1993. P. 88–89.
- 49 *Eke Zs. Gems of Timber Architecture – Pavilions of Expos: Hungarian pavilion in Sevilla and Swiss pavilion in Hannover* // hej.sze.hu/ARC/ARC-060517-A/arc060517a.pdf (дата обращения: 27.02.2013).
- 50 В городской части Венгрии в 1990-е годы «ностальгия» по социализму была ограничена известными культурными отсылками, отмечающими знание об эпохе изнутри, или туристическими местами встречи (*Nadkarni M. «But It's Ours»: Nostalgia and the Politics of Authenticity in Post-Socialist Hungary* // *Post-Communist Nostalgia* / Ed. by M. Todorova, Z. Gille. Oxford: Berghahn Books, 2010. P. 190–214).
- 51 *Hixson W.L. Parting the Curtain: Propaganda, Culture and the Cold War, 1945–1961*. New York: St. Martin's Press, 1997. P. 231.
- 52 Быстрое возрождение маскулинности в домашних интерьерах и экстерьерах проявилось, например, в покраске стен в кроваво-красный цвет. См. также работу Джеральда Крида о гипертрофированном использовании «маскулинных» элементов в болгарских шутовских костюмах в ответ на маргинализацию, спровоцированную постсоциалистической безработицей (*Creed G.W. Masquerade and Post-socialism: Ritual and Cultural Dispossession in Bulgaria*. Bloomington: Indiana University Press, 2011).
- 53 Ср. с описанием у супругов Комарофф того, как миссионеры в Ботсване пропагандировали прямые формы домов в противовес круглым хижинам народа тсвана, чтобы привить правильные представления о частной собственности и гендерных отношениях (*Comaroff J.L., Comaroff J. Homemade Hegemony* // *Ethnography and the Historical Imagination*. Boulder, CO: Westview Press, 1992. P. 265–295).
- 54 *Czeglédi C. Meseház Dabasban: A rögtönzés szabadsága* // *Lakáskultúra*. 1998. № 33. 38–44. oldal.
- 55 *Ibid.* 40. oldal.

- 56 В работе о моде среднего класса в Китае в 1990-е годы Сяобин Тан показывает, как овеществление внутреннего мира и различий контрастирует с морализаторскими дискурсами социалистического государства. Тяга к материальным благам дала выход энергии, сплавившей воедино «объекты, желания, деньги и поступки», особенно ярко заметные на фоне униженного состояния духа и «незамутненности», которые были вызваны к жизни идеологическим принуждением (*Tang X. Decorating Culture: Notes on Interior Design, Interiority, and Interiorization // Public Culture. 1998. Vol. 10. № 3 P. 532, 535*).
- 57 *Kozma E. «Az én házam, az én váram» // Dunaferr Hetilap. 1995. Június 29. 8. oldal.*
- 58 *Rubóczki E. Sablonok nélkül, színesen // Lakáskultúra. 1993. № 28. 5. oldal.*
- 59 *Berdahl D. Where the World Ended: Re-Unification and Identity in the German Borderland. Berkeley: University of California Press, 1999.* В качестве неслышанного примера того, как продолжается клеймение социалистической Восточной Европы, упомяну одного норвежского художника, который недавно «(вос)создал» «запах коммунизма» для Выставки вымерших и экзотических запахов. Этот запах описывается как состоящий из «запаха серости, изношенного бетона, легкого дуновения гнетущей промышленной вони, капельки дыма и чуть-чуть спертого воздуха» (*Burr Ch. Whole Lot of Non-Scents: What do the Sun, An Atomic Blast and Communism Smell Like? // New York Times Style Magazine. 2009. Spring. P. 110*).
- 60 *Шеннелу К.Л. Конституционный трепет // НЛЮ. 2013. № 120. С. 75–93.*
- 61 См.: Там же. С. 75–77, 89–93.

А л е к с е й Г о л у б е в

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ПАМЯТИ: О ЧЕМ БОЛИТ И О ЧЕМ МОЛЧИТ ИСТОРИЯ ОККУПАЦИИ?*

Во вступительной статье к блоку публикаций «Объекты аффекта: К материологии эмоций», опубликованному в прошлом номере «НЛО», его составитель Сергей Ушакин представил краткий обзор недавних работ по исследованиям материальности, где основное внимание уделено эпистемологическому потенциалу интерпретаций общества и культуры через их материальную составляющую. Акцент на эпистемологию подчеркивается самим термином «материология эмоций», через который Ушакин определяет поле своих исследований. Отсылая через корень «logos» к практикам познания, понятие «материология» тем самым уходит от политических аспектов, с которыми после Маркса ассоциируется понятие материализма. Однако современный академический интерес к материальности складывается не только как новая эпистемология. Авторы, ищущие (и пишущие) новые интерпретации материальности, неоднократно подчеркивали, что их поиски и письмо являются в равной степени политическим проектом. Во многих случаях именно политическая проблематика становится движущей силой новых исследований материальности¹.

Выстраивая свои работы как реакцию на доминирование языка в сфере гуманитарных и социальных наук, такие авторы, как Мишель де Серто, Билл Браун, Дэниел Миллер или Джейн Беннетт, не оспаривают основные тезисы «лингвистов» — то, что язык безнадежно колонизирован властными значениями (Мишель Фуко) и что любое письмо организует себя независимо от желаний автора посредством ритуализированных и от этого некритически воспроизводимых практик (Жак Деррида). Наоборот, эти тезисы становятся их отправной платформой, когда они утверждают, что именно материальность, менее подверженная идеологической колонизации властными значениями, содержит в себе освободительный потенциал². Авторы недавних исследований по материальности утверждают, в частности, что доминирующая в политическом и научном языке концептуализация материи и вещей как пассивных объектов человеческой воли является политическим актом, структурирующим наше понимание окружающего мира как экстремально антропоцентрическое и воплощающее все те властные практики, которые, в конечном итоге, складываются в расизм, шовинизм и ориентализм³. Лишь возвращение вещи «вещности», ее остранение (умение «(с)делать камень каменным»), способно разрушить идеологическую автоматизацию, съдающую «жену и страх войны»⁴, — в этих вопросах советские формалисты 1920-х годов удивительно созвучны современным исследователям, — способно сделать

* Я хотел бы поблагодарить А.В. Антощенко и Д.В. Четвертного (Петрозаводск) и Сергея Ушакина (Принстон) за критические замечания, которые помогли мне в работе над этой статьей, а также Дэвида Норриса (Ноттингем) за возможность выступить с докладом по теме статьи на конференции «War and Culture in Russia and Eastern Europe» (Университет Ноттингема, март 2013 года).

общество более справедливым и эгалитарным. Тем самым большинство подходов к переосмыслению вещи и материальности становятся эксплицитно-политическими, нацеленными не столько на знание как «-логию», сколько на изменение окружающего мира через политическое действие⁵.

В то же время было бы наивно думать, что способность вещей организовывать вокруг себя социальные и политические порядки, становиться объектом эмоций и тем самым избегать дискурсивной нормализации и ритуализации остается полем свободы, не колонизированным властными практиками. В определенных ситуациях именно эта способность вещей генерировать определенные аффективные режимы является инструментом утверждения того или иного положения дел и препятствует попыткам переосмыслить его. В предлагаемой статье я предложу анализ подобного феномена, а именно организации практик воспоминания и историографии оккупации советской Карелии в годы Великой Отечественной войны вокруг одного материального объекта — колючей проволоки. В частности, я рассмотрю использование символизма колючей проволоки в культурном производстве памяти о войне и потенциал для эмоциональной организации общества, который колючая проволока как материальный объект приобретает, вступая в связь с детским телом. В то же время образ колючей проволоки в культуре и обществе Карелии производит режимы молчания, подавления и цензурирования опыта оккупации, поэтому колючая проволока в моем тексте — это не только объект исследования, но еще и повод для деконструкции этих режимов. Я обращусь к тем режимам молчания, которые она вызывает, чтобы попытаться перевести их в область обсуждаемого.

Поскольку колючая проволока как материальный объект военного времени является историческим феноменом, ее потенциал для эмоциональной организации общества возникает в первую очередь через визуальные репрезентации. Главную роль здесь играет одна фотография, давно ставшая артефактом памяти в Республике Карелии, но узнаваемая и шире, в общенациональном контексте практик памяти об оккупации советских территорий в годы Великой Отечественной войны.



Узники фашизма (фото Г.З. Санько, 1944 год, Петрозаводск)

Фотография Галины Санько является самым воспроизводимым изображением в публикациях, телепередачах и других формах культурного производства, посвященных оккупации Карелии, а также других советских регионов в годы Великой Отечественной войны. Она присутствует на обложках и страницах книг⁶, используется в официальной символике, в печатной продукции и на интернет-сайтах Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей⁷ и Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей (далее — КСБМУ)⁸, обсуждается в телепередачах⁹, является главным экспонатом школьного музея в Петрозаводске¹⁰ и регулярно воспроизводится в презентациях на школьных и студенческих конференциях¹¹. Между тем, несмотря на повсеместное использование в качестве документального свидетельства об оккупации Карелии, фотография Галины Санько таковым не является: она была сделана через несколько дней после того, как 28 июня 1944 года Красная армия освободила Петрозаводск. Фотография была постановочной: сама Санько признавала, что дети, оказавшиеся на снимке, были первыми, кто оказался поблизости, — имели ли они отношение к тому концентрационному лагерю, который фотографировала Санько, или нет, она не знала¹². В любом случае постановочный характер фотографии не мешает ее широкой популяризации в качестве документального подтверждения жестокой политики оккупационных властей в отношении советского гражданского населения. Причиной этого является присутствие на фотографии того объекта, через который и происходит осмысление всей оккупации Карелии в годы войны: колючей проволоки.

Колючая проволока изобильно присутствует во всех формах культурного производства, связанных с репрезентацией памяти и истории оккупации Карелии. Изображения колючей проволоки используются в качестве ключевого элемента дизайна интернет-сайта и печатной продукции КСБМУ, в телепередачах, школьных и студенческих презентациях¹³. Репрезентации личного опыта оккупации также выстраиваются вокруг колючей проволоки как объекта, который структурирует пространство (жизнь «за» колючей проволокой), время (жизнь «до» или «после» колючей проволоки) и собственный нарратив («Много лет после освобождения, да и теперь еще иногда, как только закрою глаза, вижу перед собой ряды колючей проволоки с часовыми на вышках»)¹⁴. Наконец, в художественных произведениях об оккупации Карелии колючая проволока становится символом, который задает границы художественного пространства и времени и переопределяет традиционные художественные образы (цветы, ветер, небо)¹⁵.



Оформление интернет-сайта КСБМУ. Колючая проволока присутствует дважды: на титульном изображении и в качестве разделителя пунктов меню (источник: www.autistici.org/deti-uzniki (дата обращения: 15.04.2013))

Причиной, по которой колючая проволока стала объектом, организующим практики повествований о личном опыте оккупации и принципы ее художественных репрезентаций, является присущая ей агентивность (*agency*) — способность ограничивать мобильность людей, служить экуменической границей, пересечение которой сродни путешествию Одиссея в потусторонний мир и, как следствие, представляет смертельную опасность: «Лагерь был обнесен колючей проволокой, на вышках стояли вооруженные часовые. К проволоке было нельзя подходить — стреляли. Так застрелили девочку, которая рвала травку у ограды»¹⁶. Колючая проволока — в ее репрезентациях — обладает именно той способностью «конституировать человеческих субъектов... и их отношения с другими субъектами», о которой рассуждает Билл Браун, проблематизируя теорию вещей¹⁷. Люди за колючей проволокой оказываются полностью лишены собственной агентивности, беспомощными жертвами чьей-то чужой воли, причем, с точки зрения заключенных, эти свойства колючей проволоки несводимы к деятельности оккупационных властей. В приведенном выше примере часовые композиционно составляют часть ограды из колючей проволоки, а угроза смерти, как и сама смерть, не исходит из конкретного источника, а является результатом попытки перейти через колючую проволоку, что выражается, в частности, в использовании глаголов в безличном виде, не выражающем субъект действия («стреляли», «так застрелили...»).

В фотографии Санько «Узники фашизма» эта логика доведена до предела. В отличие от широко известных фотографий заключенных Бухенвальда или Освенцима эта фотография воздействует на зрителя не изображением предельного физического истощения тела, а помещением его за колючую проволоку, под надписью «Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела». Эмоция появляется там, где детское тело вступает в контакт с металлом, потому что колючая проволока обнажает его незащищенность, помещает его по «ту» сторону от зрителя — человека, предположительно обладающего свободой и всем тем, что с этим связано и чего лишены дети на фотографии. Тем самым фотография заставляет зрителя сочувствовать этим детям и, предположительно, приложить все усилия к тому, чтобы изображенная на ней ситуация больше никогда не повторилась. Аффект возникает от наблюдения того, что Жиль Делёз и Феликс Гваттари называли аффективной «сборкой» (*assemblage*) людей и вещей¹⁸, — от единства детского тела и колючей проволоки, которые, взятые по отдельности, не окажут аналогичного эмоционального воздействия¹⁹.

При этом эмоциональное воздействие на зрителя усиливается в связи с тем, что образы детей и колючей проволоки никак не привязаны к тому конкретному месту и времени — Петрозаводску летом 1944 года, — когда была сделана фотография. Этому же способствует ее название «Узники фашизма». Хронотоп фотографии Санько — это вся Великая Отечественная война и все оккупированные территории Советского Союза, отсюда ее широкое использование в репрезентациях немецкого оккупационного режима, например в печатной продукции Международного союза бывших малолетних узников фашизма²⁰. Основой для создания этого хронотопа и становится колючая проволока с ее умением «конституировать человеческих субъектов», в данном случае детей, как узников.

Аффективная связь колючей проволоки и детского тела устанавливает доминирующие режимы знания об оккупации Карелии. В первую очередь, колючая проволока становится призмой, через которую разглядываются (и которая преломляет) исторические репрезентации оккупационного режима.

Зритель, рассматривающий фотографию Санько, находится на позиции наблюдателя с внешней стороны колючей проволоки; читатели мемуаров или исторических нарративов об оккупации, наоборот, оказываются внутри концлагеря и воспринимают через колючую проволоку окружающий мир. В любом случае знание об оккупации Карелии, которое формируется в результате рассматривания детей за колючей проволокой или чтения биографических нарративов о жизни за колючей проволокой, основано на отказе от взгляда «сверху», от подхода, выработанного в объективистской традиции, где историк пытается занять позицию внешнего наблюдателя и выстраивает свой нарратив через попытку дать объективную оценку ходу исторических событий. С такой позиции, подразумевающей выстраивание длинных причинно-следственных цепочек, колючая проволока, конечно, не будет обладать никакой собственной агентивностью, или «властью вещи»²¹, — все будет сводиться к политике оккупационных властей. Однако образ детских тел за колючей проволокой отрицает логику исторического процесса «сверху». История, рассматриваемая через колючую проволоку, воспринимается на ее собственных условиях. Колючая проволока становится экуменической границей не потому, что так решили оккупационные власти, а потому, что для людей, оказавшихся за колючей проволокой и позднее переводящих свой опыт в биографический нарратив, она в действительности являлась объектом, обладавшим собственной силой и волей и превращавшим их в беспомощных жертв оккупационного режима. В этом отношении доминирующие репрезентации оккупации Карелии в годы войны удивительно созвучны — по крайней мере, на декларативном уровне — работам «новых материалистов», которые призывали вернуть вещам статус обладающих собственной агентивностью и отказаться от понятия пассивной материи²². Однако там, где левый академический проект видит в аффективности вещей потенциал к эмансипации, в социальном пространстве Карелии обращение к колючей проволоке как к объекту, организующему репрезентации личного опыта и истории оккупации, становится основной фигурой забывания собственного и замалчивания чужого опыта.

Я намеренно вплоть до данного момента избегал контекстуализации исторических событий, связанных с оккупацией Карелии в годы Великой Отечественной войны, чтобы сделать более осязаемой логику ее репрезентации в современном карельском культурном производстве, где оккупация изображается как опыт фашистского режима. Между тем оккупационной силой на территории Карелии в годы войны была не Германия (что подразумевается эпитетом «фашистский»), а Финляндия, что наложило свою специфику на практики оккупации.

В основании финского оккупационного режима лежала этническая дискриминация: оккупационные власти разделили население захваченных территорий на «привилегированную» (карелов, вепсов, советских финнов — в общей сложности примерно 36 тысяч человек) и «непривилегированную» (тех, кто не принадлежал ни к одной из финно-угорских национальностей, в первую очередь русских — около 50 тысяч человек) группы. Политика финского руководства по отношению к первой группе строилась на долгосрочных планах по ее ассимиляции в составе будущего населения «великой Финляндии» и включала в себя достаточное снабжение продовольствием и товарами, обязательное школьное образование и возвращение частной собственности на землю. Планы в отношении славянского населения предполагали его насильственную депортацию на территории, оккупированные Германией, — при этом дальнейшая судьба этих людей финское руководство не интересовало²³.

Появление финских концлагерей на оккупированных территориях Карелии было связано именно с подготовкой к этническим чисткам, которые не состоялись только из-за изменившейся конъюнктуры войны. Неудачи немецкой армии под Москвой и Сталинградом стали также причиной того, что планы сконцентрировать в лагерях все русское население Карелии были претворены в жизнь только частично: число заключенных финских концлагерей из числа гражданского населения оккупированных территорий достигло пика в апреле 1942 года, составив около 24 тысяч человек (27% всего населения или 44% его славянской части); к концу 1942 года численность заключенных уменьшилась до 15 тысяч и оставалась примерно на этом уровне до освобождения Карелии летом 1944 года²⁴. В лагерях погибло 4–5 тысяч человек, то есть примерно каждый пятый заключенный²⁵.

Этническая дискриминация, планы этнических чисток и высокий уровень смертности в концлагерях характеризуют финский оккупационный режим в советской Карелии как преступный. Однако дискриминационная и в то же время непоследовательная политика Финляндии на оккупированных территориях Карелии привела к тому, что опыт оккупации у местного населения был очень разнообразным и несводимым к жизни за колючей проволокой. И карелы, и вепсы, и даже те русские жители Карелии, которые не были депортированы в концлагеря, смогли сравнительно быстро нормализовать жизнь в новых условиях. Так, во время своих экспедиций в вепские районы Карелии я собрал материалы, в которых мои респонденты, в частности, рассказывали о сексуальных отношениях и браках между местными женщинами и финскими военнослужащими как о широко распространенном феномене²⁶, и об этом же на материалах карельских районов пишут другие исследователи²⁷. Добровольное и активное сотрудничество местного населения с финскими оккупационными властями было весьма распространено и в экономической деятельности, и в управлении оккупированными территориями²⁸. Более того, те социальные группы, которые пострадали в ходе коллективизации и репрессий 1937–1938 годов, рассматривали финский режим как более предпочтительный по сравнению с советской властью²⁹.

То, что в современной Карелии образ детей за колючей проволокой стал основным символом, организующим режимы исторического знания об оккупации, приводит к вытеснению всего разнообразия реального опыта в табуируемую область умалчиваемого, непроговариваемого и постыдного. Отчасти это является наследием советских практик исторической репрезентации оккупации Карелии: в советском мастер-нарративе это была история партизан и подпольщиков, а гражданское население, которое не относилось ни к тем, ни к другим, могло описываться только в категориях страданий и лишений³⁰. В этой связи символична сцена из книги карельского писателя Д.Я. Гусарова «За чертой милосердия» (1977), где один из главных героев, восемнадцатилетний партизан, посланный на разведку в родную деревню, сочинил историю о том, что он задушил родную сестру за роман с финским военнослужащим. В самом партизанском отряде этот выдуманный случай сделал его героем, и на его основе офицер, ответственный за политработу, подготовил лекцию «Нет пощады предателям»³¹. Делегируя своему герою культурную фантазию об удушении младшей сестры, Гусаров обнаруживает вытеснение опыта взаимодействия населения Карелии с финским оккупационным режимом в культурное бессознательное³².

Однако реабилитация опыта сотрудничества не состоялась и в постсоветское время, когда государственной монополии на производство исторического

знания, казалось бы, пришел конец. Аффективная «сборка» колючей проволоки и детского тела, доминирующая в современном знании об оккупации Карелии, работает через создание негативного эффекта: фиксируя взгляд на детях-узниках, она не дает увидеть и почувствовать опыт жизни в оккупации «вне» колючей проволоки, предотвращает появление культурного языка, способного описывать опыт взаимодействия между оккупированным населением и оккупационным режимом в терминах, отличных от «коллорабационизма» и «измены». В качестве примера можно указать на мемуары вепсского писателя Рюрика Лонина³³, в которых обнажается конфликт между личным опытом быстрой нормализации жизни во время финской оккупации и культурным кодом страдания и лишений, в котором Лонин вынужден воплощать свой нарратив, поскольку никакого другого культурного языка у него нет. Уже само заглавие «Детство, опаленное войной» отсылает читателя к советскому интертексту военного детства как опыту страдания на грани жизни и смерти; оформление обложки в виде пламени, пожирающего детскую фотографию автора, только усиливает эти аллюзии. Сложность выхода из устоявшегося культурного кода показывает и интервью, взятое у Рюрика Лонина мной и А.Ю. Осиповым весной 2007 года. В ходе интервью — устного и от этого более свободного жанра по сравнению с мемуарами — Лонин привел несколько ситуаций отношений между оккупационными властями и оккупированным населением, которые отсутствовали в его книге; еще более интересными оказались реплики его жены, которая также жила на оккупированных территориях в годы войны. Несколько раз она начинала отвечать вместо мужа, который заминался или забывал те или иные эпизоды оккупации, после чего Лонин вспоминал про них:

А.Ю. Осипов (интервьюер): Молодежь устраивала вечера или посиделки?
Р.М. Лонин: Посиделки были в зимнее время. Женщины ходили по очереди в один дом, второй дом. И с прялками ходили, уже тогда редко кто вышивал, пряли пряжу.
М.П. Лонина: Молодежь-то, скажи, на танцы ходили, с финнами танцевали.
Р.М. Лонин: Ну, запрещали это...³⁴

А.Ю. Осипов: Во время оккупации рождались дети?
Р.М. Лонин: Рожали, да. Вот старосты дочь родила от финна даже двоих. Были такие женщины в деревнях, может, еще кто и рожал, я не знаю. Такие случаи в деревнях были.
М.П. Лонина: Да было и здесь, в Шелтозере, гуляли девки с финнами.
Р.М. Лонин: Некоторые были даже замужем, мужья на фронте, а они с финнами гуляли³⁵.

Мое объяснение этому феномену заключается в том, что Р.М. Лонин как профессиональный писатель и краевед, освоивший культурный код письма об оккупации (язык колючей проволоки) и вобравший его в свой собственный язык, умалчивает, сознательно или бессознательно, об отношениях между вепскими женщинами и финскими мужчинами как о чем-то «постыдном», недостойном упоминания. Нормативный язык, через который «принято» рассказывать о своем опыте оккупации, способствует аффективной организации рассказов о прошлом (в данном случае через эмоцию стыда), диктует его носителю фигуры умолчания, которые употребляются при нарративизации своего опыта³⁶. В то же время Мария Лонина, бывший бригадир совхоза³⁷, никогда не была вовлечена в культурное производство, и ее речь, даже стилистически очень отличающаяся от правильной литературной речи мужа

(«девки гуляли»), позволяет ей преодолеть пространства умолчания и тем самым помочь мужу публично озвучить (пусть и в формате осуждения — «мужья на фронте, а они с финнами гуляли») свой опыт.

Бывшие заключенные финских концлагерей активно способствуют утверждению этого режима исторического знания об оккупации Карелии, при котором опыт тех групп населения, для которых оккупация не являлась травматической, вытесняется из нормативного культурного пространства. При этом они активно используют способность материальных объектов к аффективной организации нарративов — иными словами, ту материологию эмоций, которой посвящен этот блок статей в «НЛО». Так, в 2006—2008 годах несколько моих студентов обращались в КСБМУ с просьбой предоставить телефоны и другие данные бывших малолетних узников финских лагерей для интервьюирования. По их рассказам, визиты в офис союза включали в себя долгую беседу с его руководителями, которые рассказывали про свой опыт заключения в концлагере и про фотографию «Узники фашизма» Санько. Заканчивались же эти беседы тем, что со студентов брали обещание «не писать о том, что финны кормили местное население конфетками», — фраза, которую слово в слово повторили несколько из них.

Противопоставление одного объекта («конфеток»), через который происходит организация нарратива о чужом опыте сотрудничества с оккупационным режимом, другому объекту, через который выстраивается собственный нарратив о страдании в концлагерях (колючей проволоке на фотографии Санько), является частью доминирующего аффективного режима знания об оккупации Карелии в годы войны. Опыт карельского и вепского (а также значительной части русского) населения дискредитируется как наслаждение (опыт сладостей), в то время как опыт жизни за колючей проволокой дает моральное право на «истинное» знание о финской оккупации Карелии именно бывшим заключенным концлагерей. Материальность здесь работает в паре с телесностью: попытки рассказать о сотрудничестве населения Карелии с оккупационным режимом неизбежно спотыкаются о сексуальные отношения, возникавшие между оккупированным населением и оккупантами, — все то же наслаждение, которое дискредитирует себя диссонансом с телесностью детей за колючей проволокой, телесностью страдания³⁸. Как следствие, моральный приоритет страдания над наслаждением вытесняет опыт свободного населения Карелии из сферы допустимого в исторических репрезентациях. «Национальный» опыт так и не обретает собственных форм культурной репрезентации, собственного языка или голоса, и история карелов, вепсов и советских финнов в годы войны рассказывается исключительно через русских повествователей, рассматривающих своих финно-угорских соседей через колючую проволоку:

За три года пребывания в концлагере Надя так и не поняла, почему всех жителей русской деревни поместили за колючую проволоку, а соседняя финская деревня могла жить свободно³⁹.

«Обезличенность» финно-угорского населения Карелии подчеркивается здесь отсылкой к «финской деревне»: в действительности деревня была либо карельской, либо вепской, поскольку после репрессий 1937—1938 годов населенных пунктов с преобладанием финского населения на территории Карелии просто не осталось⁴⁰.

Аффективность связки детского тела и колючей проволоки становится веским аргументом и против попыток деконструировать нарративы об оккупации через апелляцию к объективному изложению событий. Так, например,

в 2005 году в региональной газете «Курьер Карелии» появилась статья, в которой автор, известный в Карелии журналист, высказывал сомнения в достоверности ряда воспоминаний, опубликованных бывшими детьми — заключенными концлагерей. Не ставя под сомнение то, что оккупация Карелии оказалась тяжелым испытанием для ее населения и повлекла за собой ненужные смерти и страдания, автор статьи одновременно призвал «критичнее относиться к воспоминаниям пожилых людей <...>, чтобы не навредить истине», и подверг критике такие свидетельства, как массовые издевательства и намеренное истребление заключенных в финских концлагерях, в том числе «сотни ежедневно вывозимых трупов». В последнем случае он призвал на помощь арифметику (правда, признав этот прием «кошунством»): по его расчетам, если бы смертность в финских лагерях была настолько высокой, за два с половиной года это означало бы как минимум 90 тысяч смертей — при общем количестве заключенных финских концлагерей в три раза меньше этой цифры⁴¹.

Через две недели КСБМУ опубликовал в том же «Курьере Карелии» ответ на эту статью. Ее объективности внешнего наблюдателя семьдесят подписавшихся авторов противопоставили материальность и телесность своего опыта:

Широко применялись для наказания карцер, холодная будка, удары розгами и плетками, резиновыми палками и просто палками за малейшее нарушение режима, особенно за попытку проникновения через проволоку...⁴²

Личный опыт страдания, таким образом, дискредитирует призывы к объективности, которые с позиции бывших узников действительно выглядят как оправдание преступного режима. В спорах о том, как описывать оккупацию Карелии в годы войны, попытки объективного историописания изначально маргинализируются образом детского тела, помещенного за колючую проволоку. В результате даже в работах, написанных профессиональными историками, доминирует взгляд на финскую оккупацию через колючую проволоку, глазами бывших узников концентрационных лагерей, который делает несущественным любой другой опыт, кроме их собственного⁴³.

Однако в этой аффективной экономике исторических репрезентаций об оккупации репрессирован не только чужой опыт, но и свой собственный, поскольку жизнь в лагерях никогда не была похожа на неподвижные фигуры детей, смотрящих через колючую проволоку на зрителя на фотографии Санько. Это отражают, например, те воспоминания бывших заключенных, которые фиксируются вне практик мемориализации, организуемых КСБМУ. Например, интервью с бывшими заключенными финских концентрационных или трудовых лагерей, взятые мной или моими студентами в ходе полевых исследований в 2005—2007 годах, представляют иную картину оккупационного режима, чем та, что доминирует в культурном производстве знания о финской оккупации Карелии. В них присутствуют и голод, и необходимость тяжелого физического труда, и физической наказанию, однако в совокупности не возникает картины «фашистской» политики на грани геноцида⁴⁴.

Даже опыт взаимодействия с колючей проволокой обретает совершенно другие очертания, если рассказ о нем ускользает от доминирующих стратегий репрезентации. Использование колючей проволоки для изоляции русского населения Карелии являлось материализацией финляндского расистского и националистического дискурса, стоявшего за оккупационной политикой на захваченных территориях. Концлагеря в планах финского руководства должны были предотвратить контакты между заключенными и окружающим миром, и на фотографии Санько отразилась именно эта стратегическая —

изолирующая — функция колючей проволоки. Потерянным при этом оказалось то, что Мишель де Серто в исследовании «Изобретение повседневности» назвал «тактиками» повседневной жизни (в противоположность «стратегиям» власти), — способность обычных людей найти пространство свободы и сопротивления на поле, организованном по законам противника⁴⁵. Колючая проволока не только разъединяла, но одновременно и соединяла, а ее преодоление создавало возможности для контакта между оккупированными и оккупантами. Так, одна из моих респонденток, бывшая в заключении в одном из концлагерей в Петрозаводске, описывала пересечение детьми колючей проволоки как повседневный процесс:

Л.А. Банкет: Все было уже проволокой перегорожено, никуда нас не пускали. Но мы, ребятня, все равно ходили. Я, в частности. У меня было трое меньших братьев и сестер, это две сестры и брат. Надо же было кормить. Взрослые ходили на работу. А я и соседка... Были такие отважные люди: одни держали проволоку, чтобы пролезть через нее, а другие шли в город. Кто что, как мог. На Октябрьском проспекте в то время были овощные поля. Но это уже был октябрь, то есть уже все замерзло. Так мы собирали все, что можно было собрать вроде как съестное, и несли с собой обратно в лагерь <...>. А что мы еще делали очень здорово. Мы, ребятня, ходили под проволоку на финские кухни. У каждого из нас была какая-нибудь баночка или что-нибудь, и они нам отливали. Причем, знаете что, что меня поразило, что большинство из них сначала нам отливали, а потом себе оставляли. Но были и такие, которые объедки отдавали. Но нам уже было все равно⁴⁶.

Согласно другим свидетельствам, детские походы через колючую проволоку были действительно повсеместным явлением⁴⁷. Эти походы погружали детей, живших в концлагере, в перманентное лиминальное состояние перехода из одного социального мира в другой⁴⁸, что возвращало им агентивность, лишение которой подразумевалось в акте финских оккупационных властей, поместивших их за колючую проволоку. Дети становились добытчиками дополнительного питания для своих семей; приходя же на финские кухни за едой, они подрывали финляндский националистический и расистский дискурс военного времени, поскольку финские военнослужащие в основной массе проявляли сочувствие и сострадание к детям, когда делились с ними своей едой, и не доносили об их несанкционированных походах администрации концлагерей. Колючая проволока позволяла детям, оказавшимся в концлагерях, сделать выбор (в котором отказывали им оккупационные власти): быть пассивной жертвой или вернуть себе активность, перебравшись через нее, и многие (если не большинство) выбирали второй вариант. Даже телесное взаимодействие с колючей проволокой осмысливается совершенно иначе. В том же интервью Л.А. Банкет рассказала о неудачном возвращении в концлагерь после одного из походов. В ее нарративе те шрамы, которые оставила колючая проволока на ее детском теле и которые она пронесла через всю жизнь (интервью происходило в 2005 году), стали знаком детской храбрости и инициативы:

Л.А. Банкет: Ходили эти охранники вот так: сюда один, сюда другой, и в этот момент мы пробегали. А тут, значит, они вернулись назад, и я... у меня на ноге до сих пор шов, даже два шва, я разорвала ногу проволокой. Крови было очень много. У кого что было, завернули...

А.В. Голубев: Это вы пытались обратно прибежать?

Л.А. Банкет: Обрато, да. Нам туда уже было невозможно идти... В общем, [финны] не нашли, кто бежал. Но у меня два шва до сих пор. Сколько лет прошло, так и осталось⁴⁹.

В этом примере рана на ноге, нанесенная колючей проволокой, оказывается результатом собственных действий по ускользанию от финской охраны. Респондент не переносит вину за нее на охранников концлагеря — ей важно, что ногу поранила она сама («я разорвала ногу проволокой»), потому что преодоление колючей проволоки было ее собственным выбором, конституировавшим ее как активного субъекта истории («были такие отважные люди»), а не как ее пассивную жертву.

Именно эти повседневные тактики преодоления колючей проволоки оказались потеряны в доминирующем режиме знания о финском оккупационном режиме в Карелии. Дети, регулярно пересекавшие колючую проволоку во время оккупации, застыли перед ней как непреодолимой границей только в исторических репрезентациях, вначале на фотографии Санько, затем в публикациях советского времени и, наконец, в собственных биографических нарративах. Аффективность «сборки» материальности колючей проволоки и детской телесности оказалась захваченной изображением, которое само стало частью визуального бессознательного⁵⁰, по крайней мере в современной Республике Карелии. Любопытно, что можно даже проследить генеалогию этого процесса, поскольку процесс перехода фотографии в биографические нарративы зафиксировали публикации карельского журналиста И.М. Бацера. По его инициативе 9 мая 1966 года карельская пресса, включая главную республиканскую газету «Ленинская правда», впервые опубликовала фотографию Санько «Узники фашизма» с призывом к тем, кого запечатлел этот снимок, откликнуться и рассказать о своих послевоенных судьбах⁵¹. Публикация фотографии инициировала поток воспоминаний в редакцию «Ленинской правды» о жизни в финских лагерях. Осмысливая этот процесс, Бацер писал:

Промчались годы, и пережившие войну вглядывались теперь в нечеткий газетный отпечаток не только потому, что пытались узнать кого-то или самого себя. Потому вглядывались, что до сих пор не перестали кровоточить нанесенные тогда раны. Бывает такое минувшее, с которым ни при каких обстоятельствах примириться нельзя, ни при каких, никогда!⁵²

Образ детей за колючей проволокой стал для Бацера сильным эмоциональным потрясением, и в 1974 году он опубликовал книгу «Десант в полдень: История одной фотографии» (переизданную в 1984 году), чтобы показать преодоление колючей проволоки, освободить детей от ее власти. Композиционно книга выстраивается вокруг фотографии Санько: автор по очереди прослеживает биографии изображенных на ней детей, каждому из которых советская власть помогла пройти путь от беспомощной жертвы оккупационного режима до успешного советского человека — например, до кандидата наук и университетского преподавателя: «Приятно говорить о той силе, которая вырвала большеглазую девчущку из-за колючей проволоки и, пронеся ее через годы, подняла на эту кафедру»⁵³. Аффективности колючей проволоки автор противопоставил аффективность советской власти («приятно говорить о той силе»), способной исправлять биографии своих субъектов, направлять их жизненный путь в русло нормальной жизни.

Тем самым образ детей за колючей проволокой оказался идеологическим «окликом», о котором рассуждает Луи Альтюссер как о процессе, превращающем людей в субъекты власти и идеологии⁵⁴. Фотография Санько «откликнула» Бацера, вызвав в нем желание показать, как советская власть дала возможность детям вырваться из-за колючей проволоки и стать полноценными советскими людьми. Бацер через газету обратился с призывом («окликом»)



Слева: обложка книги И.М. Бацера «Десант в полдень»; в центре — фрагмент фотографии Г.З. Санько с Клавдией Соболевой в июне 1944 года; справа — К.А. Нюппиева (Соболева) на защите кандидатской диссертации в 1973 году. Фотографии Соболевой-Нюппиевой помещены на одном развороте книги, символизируя ее превращение из жертвы в успешную советскую женщину (из книги: Бацер И.М. Десант в полдень: История одной фотографии. Петрозаводск: Карелия, 1984. Титульный лист, с. 5–6)

к детям, изображенным на фотографии, рассказать о своих судьбах и в своей книге превратил их жизненные истории в нарратив преодоления колючей проволоки. Как позже вспоминала К.А. Нюппиева — девочка с фотографии «Узники фашизма» и председатель КСБМУ — в интервью телеканалу «Вести — Карелия»,

военная фотография [Санько] и книга Исаака Бацера «Десант в полдень» положили начало объединительному движению бывших малолетних узников концлагерей в Карелии. Исаак Маркович Бацер призвал тех, кто узнал себя на этой фотографии, откликнуться... Они откликнулись, нашлись, и уже более двадцати лет в республике действует общественная организация: Союз бывших малолетних узников⁵⁵.

При этом, ответив на этот «оклик» и позднее активно включившись в производство знания об оккупации Карелии, бывшие узники концлагерей перевели личный опыт боли в узнаваемые символы⁵⁶ — символы кровоточащей раны, вызванной — по логике фотографии Санько — соприкосновением колючей проволоки и детского тела.

Таким образом, колючая проволока в силу своей аффективности стала основным символом, с помощью которого бывшие заключенные финских концлагерей в Карелии переводят опыт личной боли и страдания в социально-узнаваемые значения. Логика, по которой сформировалось и функционирует сообщество бывших малолетних узников в Карелии, обусловлена стремлением не допустить забвения их личной боли обществом, что отражено, в частности, в уставе КСБМУ⁵⁷. Перевод личной боли в образ детского тела за колючей проволокой приводит к предельной функционализации опыта боли, к его использованию в социальной и политической борьбе за историю. В конечном итоге все это превращает колючую проволоку в политический и культурный символ, который не только доминирует в исторических репрезентациях оккупационного режима в Карелии, но и до сих пор продолжает конституировать бывших заключенных как субъекты страдания, получающие за это страдание исключительное право на производство исторического знания об оккупации.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Сам очерк, а также библиографию работ по изучению материальности см.: *Ушакин С.* Динамизирующая вещь // НЛО. 2013. № 120. С. 29–34.
- 2 Мишель де Серто, например, начинает свое «Изобретение повседневности» с изобретения нового языка описания, аргументируя это тем, что существующий научный (аналитический) язык не может описывать повседневность, а может лишь «захватывать» ее: *Certeau M. de.* The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984. P. 1–28. Об освободительном потенциале материальности и материальной культуры см. также: *Miller D.* Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell, 1987, особенно разделы «Object Domains, Ideology and Interests» и «Towards a Theory of Consumption» (p. 158–217).
- 3 New Materialism: Ontology, Agency, and Politics / Ed. by Diana Coole and Samantha Frost. Durham: Duke University Press, 2010, особенно: *Coole D., Frost S.* Introducing the New Materialisms (p. 1–43); *Grosz E.* Feminism, Materialism, and Freedom (p. 139–157). См. также: *Bennett J.* Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press, 2010, особенно разделы «The Force of Things» (p. 1–19) и «Political Ecologies» (p. 94–109).
- 4 *Шкловский В.Б.* Искусство как прием // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 63.
- 5 См.: *Ушакин С.* Указ. соч. С. 30–31.
- 6 Судьба: О фашизме XX века надо помнить: (О малолетних узниках гитлеровских лагерей – жителях Кубани). Краснодар: Периодика Кубани, 2005; Плененное детство: Сборник воспоминаний бывших малолетних узников / Под ред. И.А. Костина и К.А. Нюпшиевой. Петрозаводск: Фолиум, 2005; Вспомним всех поименно: Книга о бывших малолетних узниках фашистских концлагерей / Под ред. В.Н. Белозерова. Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат, 2006; Черные крылья войны: Воспоминания / Сост. Е.М. Аниканова, А.В. Вольнская. М.: Профиздат, 2011.
- 7 Газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма: gazeta-sudba.ru (дата обращения: 15.04.2013); см. также: Брошюра МСБМУ – 20 лет // deti-uzniki.ru/arc/MSBMU-20-let.doc (дата обращения: 15.04.2013); Почетная грамота МСБМУ // licei13.karelia.ru/lyceum_today/museum/2010.jpg (дата обращения: 15.04.2013).
- 8 Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей // www.autistici.org/deti-uzniki (дата обращения: 15.04.2013).
- 9 «Что имеем – не храним: Оккупация Петрозаводска» (режиссер А. Мазуровский, «Ника-Плюс» (Петрозаводск, 18 февраля 2011 года); «Прокуратура Карелии помогла вернуть статус малолетнего узника» («Вести – Карелия», 27 июня 2011 года), сюжет доступен онлайн: www.vesti.ru/doc.html?id=490099 (дата обращения: 23.04.2013); «В Петрозаводске прошла панихида по жертвам фашистской оккупации» («Вести – Карелия», 11 апреля 2013 года).
- 10 Музей «Дети войны» в МОУ «Лицей № 13» Петрозаводска (Карелия, Петрозаводск, улица Сортавальская, дом 76).
- 11 Наблюдения автора на конференции преподавателей и студентов Карельского пединститута, посвященной 60-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации (2004), студенческой конференции Петрозаводского государственного университета в 2007 году и республиканской школьной краеведческой олимпиаде «Мой край – Карелия» (2009).
- 12 Об истории создания фотографии, включая переписку с Г. Санько, см.: *Бацар И.М.* Десант в полдень: История одной фотографии. Петрозаводск: Карелия, 1984. С. 10–16.
- 13 См. сноски 7–10. См. также: *Горяйнова О., Давыдова А.* Голоса из убитого детства: Презентация на республиканской краеведческой олимпиаде школьников «Мой Край – Карелия» // www.myshared.ru/slide/70160 (дата обращения: 19.04.2013).

- 14 См. воспоминания, опубликованные в: Судьба: Сборник воспоминаний бывших малолетних узников фашистских лагерей / Под ред. И.А. Костина. Петрозаводск: ГУ КРБС, 1999; Плененное детство: Сборник воспоминаний бывших малолетних узников; Дети войны: Воспоминания женщин о детстве в годы Великой Отечественной войны. Петрозаводск: Издательство ГКПУ, 2006; *Денисевич Н.И.* В финском концлагере: Воспоминания и размышления. Минск, 2007; Оккупация: Воспоминания бывших малолетних узников финских концлагерей в год 60-летия великой Победы // Карелия официальная: Портал органов государственной власти Республики Карелия // pobeda.gov.karelia.ru/Veteran/memory.html (дата обращения: 20.04.2013). Цитата взята из последнего источника.
- 15 *Костин И.* Освобождение Петрозаводска: (Стихи) // Карелия. 2009. № 48 (1916). 9 мая; см. также: *Максименко Е.* Колючий сад: Стихи. СПб., 1998; Подснежники за колючей проволокой: Воспоминания бывших малолетних узников фашизма / Сост. О. Васюков, М. Петренко, С. Подольский. Львов: Цивилизация, 2001; *Тризна Л.М.* В плену обугленного детства: Стихи. Поэмы. Проза. М.: Фонд имени М.Ю. Лермонтова, 2005.
- 16 Воспоминания Раисы Артемовны Сычевой // Денисевич Н.И. Указ. изд. С. 127–128.
- 17 *Brown B.* Thing Theory // Things / Ed. by Bill Brown. Chicago: Chicago University Press, 2004. P. 7; см. также: *Ушакин С.* Указ. соч. С. 30.
- 18 *Делёз Ж., Гваттари Ф.* Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. М.: У-Фактория; Астрель, 2010; см. также: *Bennet J.* Op. cit. P. 20–38.
- 19 Так, фотографии, сделанные Г. Санько в тот же день и запечатлевшие большие группы бывших узников концлагерей в Петрозаводске, фактически не вовлечены в коллективную память об оккупации Карелии. Фотографии выставлялись на выставках «Петрозаводск в годы Великой Отечественной войны» и «Военная фотолетопись Карелии (1941–1945 гг.)», организованных в Национальном архиве Республики Карелии в 2004 и 2005 годах соответственно. Выстроенные сюжетно по образцу официальных коллективных фотографий, эти изображения выражают стремление к классификации и категоризации населения и не обладают той аффективностью, которая возникает на фотографии «Узники фашизма» от «сборки» детей и колючей проволоки.
- 20 См. сноски 6 и 7, а также: Судьба (газета МСБМУ). 2007. № 1 (107). Январь–февраль. С. 1. В трехтомном издании В. Литвинова «Коричневое ожерелье» фотография Г. Санько используется в томах 2 и 3 для иллюстрации немецкого оккупационного режима: *Литвинов В.* Коричневое ожерелье. Киев: ИГЛ «Абрис», 2001. Кн. 2. С. 114; *Он же.* Коричневое «ожерелье». Киев: ИГЛ «Абрис», 2003. Кн. 3. С. 138.
- 21 О «власти вещи» см.: *Bennett J.* Op. cit. P. 2–17; см. также статью из подборки «Объекты аффекта: К материологии эмоций» в прошлом номере «НЛО»: *Чадага Ю.* Объятия звезд: О телесных свойствах стекла в России // НЛО. 2013. № 120. С. 54–74.
- 22 См. также: *Mel Chen.* Animacies: Biopolitics, Racial Mattering, and Queer Affect. Durham, N.C.: Duke University Press, 2012. P. 159–222.
- 23 *Laine A.* Suur-Suomen kahdet kasvot: Itä-Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa miehityshallinnossa 1941–1944. Helsinki: Otava, 1982. S. 105 и далее.
- 24 *Веригин С.Г.* Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социально-экономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939–1945 гг. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2009. С. 363.
- 25 *Лайне А.* Гражданское население Восточной Карелии под финляндской оккупацией во Второй мировой войне // Карелия, Заполярье и Финляндия в годы Второй мировой войны. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 1994. С. 43.
- 26 *Golubev A.* Between Social Reformism and Conservatism: Soviet Women under the Finnish Occupation Regime, 1941–1944 // Scandinavian Journal of History. 2012. Vol. 37. № 3. P. 368–371; Устная история в Карелии: Сборник научных статей и источников. Вып. 3: Финская оккупация Карелии / Под ред. А.В. Голубева и А.Ю. Осипова. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2007. С. 37–118.

- 27 *Киселева О.А., Никулина Т.В.* Гражданское население и оккупационный режим: Выступление на круглом столе «Советская Карелия в пространстве оккупации, 1941–1944» // Отечественная история. 2006. № 4. С. 81; *Koponen M.* Sexual Relations between Finnish Occupying Soldiers and Local Women in Eastern Karelia during the Second World War // *Ethnosexual Processes: Realities, Stereotypes and Narratives* / Ed. by Joni Virkkunen, Pirjo Uimonen, and Olga Davydova. Helsinki: Kikimora Publications, 2010. P. 155–173.
- 28 *Веригин С.Г.* Карелия в годы военных испытаний. С. 386–417; *Он же.* Предатели или жертвы войны? Коллаборационизм в Карелии в годы Второй мировой войны 1939–1945 гг. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2012.
- 29 Выявлению подобных мнений была посвящена значительная работа органов госбезопасности в течение первого года после освобождения Карелии. См.: Национальный архив республики Карелия. Ф. П-1230. Оп. 40. Д. 12. Л. 40; Д. 19. Л. 12; Ф. П-33. Оп. 1. Д. 265. Л. 29, 104–105. См. также: *Куломаа Ю.* Финская оккупация Петрозаводска, 1941–1944. Петрозаводск: Rif Company, 2006; *Веригин С.Г.* Предатели или жертвы войны?
- 30 В грозные годы: Документы и материалы о героических подвигах женщин Карелии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Петрозаводск: Карелия, 1970; *Гусаров Д.Я.* Цена человеку: Роман. Петрозаводск: Карелия, 1970; *Куприянов Г.Н.* За линией Карельского фронта. Петрозаводск: Карелия, 1975; *Бацфер И.М., Кликачев А.И.* Позывные из ночи. Петрозаводск: Карелия, 1977; *Тихонов О.Н.* Операция в зоне «Вакуум». Петрозаводск: Карелия, 1979; *Гусаров Д.Я.* За чертой милосердия: Партизанская музыка. Петрозаводск: Карелия, 1983; За родную Карелию / Отв. ред. К.А. Морозов. Петрозаводск: Карелия, 1990.
- 31 *Гусаров Д.Я.* За чертой милосердия. С. 20–23.
- 32 О культурных фантазиях, связанных с физическим насилием, как о вытеснении властных практик в коллективное бессознательное на советском материале см.: *Kaganovsky L.* How the Soviet Man Was Unmade: Cultural Fantasies and Male Subjectivity Under Stalin. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008.
- 33 *Лонин Р.П.* Детство, опаленное войной. Петрозаводск: Verso, 2004.
- 34 Интервью с Р.М. Лониным // Устная история в Карелии. С. 103.
- 35 Там же. С. 106.
- 36 Об аффективной организации памяти на советском материале см.: *Oushakine S.A.* Remembering in Public: On the Affective Management of History // *Ab Imperio*. 2013. № 1. P. 1–33; *Ушакин С.А.* «Нам этой болью дышать»? О травме, памяти и сообществах // Травма: Пункты / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 5–41. Про стыд как социально-культурный феномен см.: *Ahmed S.* The Cultural Politics of Emotion. New York: Routledge, 2004. P. 101–121.
- 37 Биографию Р.М. и М.П. Лониных см.: *Наумов Д.* Хранитель вепсских традиций // Карелия. 2010. № 108 (2123). 30 сентября.
- 38 О значении страдания в поздней советской культуре см.: *Рус Н.* «Русские разговоры»: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 226–279.
- 39 *Нечаева Н., Волкова Н.* Дети финских концлагерей // Северный курьер. 1993. № 257. 30 декабря.
- 40 *Такала И.Р.* Национальные операции ОГПУ / НКВД в Карелии // В семье единой: Национальная политика партии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 1920–1950-е годы / Под ред. Т. Вихавайнена и И.Р. Такала. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 1998. С. 161–206.
- 41 *Машин В.* Тяжелый плен воспоминаний // Курьер Карелии. 2005. 27 января.
- 42 *Нюттеева К. и др.* Нас жарили в бане и травили известью // Курьер Карелии. 2005. 12 февраля.

- 43 *Веригин С.Г.* Карелия в годы военных испытаний. С. 306—385; *Юсупова Л.Н.* Военное детство в памяти поколения, пережившего оккупацию в Карелии // Военно-историческая антропология: Ежегодник. 2003 / 2004. Новые научные направления. М.: РОССПЭН, 2005. С. 345—351. Если С.Г. Веригин еще помещает в свою работу материал о сотрудничестве местного населения и оккупационного режима, хоть и «вытесняет» его в раздел «коллаборационизм», то у Л.Н. Юсуповой «память поколения, пережившего оккупацию в Карелии», — это исключительно детские воспоминания о жизни в финских концлагерях из сборников, опубликованных КСБМУ.
- 44 Устная история в Карелии. С. 133, 136, 149, 158.
- 45 *Certeau M. de.* Op. cit. P. ix—xxiv; особенно см.: p. xvii—xix.
- 46 Интервью с Л.А. Банкет // Устная история в Карелии. С. 188—189.
- 47 *Денисевич Н.И.* Указ. соч. С. 86—87; *Нечаева Н., Волкова Н.* Указ. соч.; *Машин В.* Тяжелый плен воспоминаний; Плененное детство. С. 9; Интервью с Валентиной Васильевной Луковниковой // Устная история в Карелии. С. 202.
- 48 О лиминальности см.: *Тэрнер В.* Символ и ритуал. М.: Наука, 1983.
- 49 Интервью с Л.А. Банкет. С. 188—189.
- 50 О визуальном бессознательном см.: *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медимум, 1996. С. 54; *Krauss R.E.* The Optical Unconscious. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.
- 51 *Бацер И.М.* Указ. соч. С. 10; Ленинская правда. 1966. 9 мая.
- 52 *Бацер И.М.* Указ. соч. С. 13.
- 53 Там же. С. 45.
- 54 *Альтюссер Л.* Идеология и идеологические аппараты государства: (Заметки для исследования) // Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77). С. 14—58.
- 55 «Прокуратура Карелии помогла вернуть статус малолетнего узника» (см. примеч. 9).
- 56 О невозможности разделить личный опыт боли, что приводит к его семантизации и символизации, то есть к отказу от субъективного опыта боли и его перекодированию в культурно-узнаваемый опыт, см.: *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч. I. С. 173—187.
- 57 Устав общественной организации Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей (КСБМУ): www.autistici.org/deti-uzniki/ustav.html (дата обращения: 27.04.2013).

В и к т о р В а х ш т а й н

ИГРУШКИ КАК «ОБЪЕКТЫ В КАВЫЧКАХ»: ТРАНСПОНИРОВАНИЕ VS. ТРАНСПОЗИЦИЯ*

Интерес социологии к детским игрушкам не является ни самоочевидным, ни оправданным недолгой историей нашей дисциплины. Он требует дополнительной легитимации. Легитимация же эта может быть либо теоретической, либо иллюстративной. Я позволю себе начать с иллюстрации.

В 1998 году мы с коллегами работали в израильском кибуце, где изначально все игрушки находились в коллективной собственности — таково было требование старой социалистической традиции. (Впрочем, к концу 90-х ситуация коренным образом изменилась, кибуцное движение далеко ушло от заветов отцов-основателей.) На следующий день после прибытия одна игрушка привлекла наше внимание. Это была детская коляска, сделанная в форме игрушечного автомобиля со всеми необходимыми атрибутами (включая руль и педали). Единственное, что в ней было от коляски, — ручка; то есть матери оставалось только толкать коляску, ребенок же сам должен был выбирать направление, вращая руль.

Студенты-психологи в этой коляске немедленно распознали инструмент воспитания ответственности, любители поговорить о политической культуре — метафору подлинной социал-демократии. При любой интерпретации получалось так, что коляска представляет собой воплощение «правильных» политических ценностей и одновременно — инструмент формирования «правильных» психологических паттернов.

Мы немедленно начали фотографировать занятный артефакт, попутно противопоставляя его «тоталитарным» коляскам (и особенно санкам, к которым ребенок традиционно крепился запасным шарфом) нашего советского детства. Однако вскоре выяснилось, что руль у коляски не соединен с колесами; ребенок мог вращать его сколько угодно, но управлял движущимся средством исключительно в своем воображении. «Так у детей формируется базовое недоверие к миру и экстернальный локус контроля», — подвели итог мои коллеги-психологи. «Так проявляется кризис социалистической культуры — ценности и повседневная жизнь сообщества больше не связаны друг с другом, как руль и колеса злополучной коляски», — согласились культурцентристы.

Что осталось за скобками этих двух взаимодополняющих объяснений, так это свойства игрушки как конкретного материального объекта в конкретной ситуации взаимодействия. Как игрушка «работает»? Как она направляет действия ребенка и взрослого? Какие формы взаимодействия поддерживает, а какие — блокирует? Что происходит при поломке игрового объекта? Как игрушки управляют нашим вниманием и воображением?

Это именно тот аспект, который упускают из виду исследователи Культуры и Психики, подменяющие материальность и конкретность игровых объектов их «ценностями», «значениями», «долгосрочными психологическими

* Я хотел бы выразить искреннюю признательность Сергею Ушакину, Ким Шеппели, Драгану Куюнжичу, Андрею Корбу и Ивару Максудову, без общения с ними этот текст никогда не был бы написан. А также Эрне Вахштайн — за благосклонно предоставленный эмпирический материал.

эффектами», «поведенческими паттернами» и «функциями социализации». Собирая свои объяснительные модели из подручных нарративов, психологи и культурологи используют Культуру и Психику в качестве скрытых источников причинности¹.

Эта статья посвящена социологии детских игрушек. Слово «детских» в первом предложении — не признак возрастной дискриминации. Всякий, кто видел отца, играющего с сыном в железную дорогу, понимает нерелевантность возрастных различий. Далее для целей анализа мы уравнием в правах детей и взрослых, чтобы сфокусироваться на самой механике их интеробъективного взаимодействия².

Собственно, интересующие нас вопросы можно сформулировать следующим образом: как материальные объекты инкорпорированы в игровые взаимодействия? Какое участие они принимают в конституировании социального мира? Как мир социального собран, соткан, обрамлен и преобразован нашими [эмоциональными] отношениями с материальными объектами? А потому игрушка далее будет пониматься нами как *конкретный материальный объект, встроенный в архитектуру взаимодействия здесь-и-сейчас*.

Игрушка как элемент взаимодействий здесь-и-сейчас — предмет специального интереса микросоциологии. Еще в 1967 году канадский социолог Дональд Болл, сторонник набиравшего в те годы популярность символического интеракционизма, написал статью «К социологии игрушек: Неодушевленные объекты, социализация и демография кукольного мира». Его теоретический ход (сегодня уже не кажущийся оригинальным, но, несомненно, значимый для социологии 1960-х) — концептуализация объекта через ситуацию его использования: «Игрушки суть часть среды взаимодействия (interactional settings), социально определенных — и определяющих — ситуаций детей». И далее:

Данная перспектива исходит из допущения, что, хотя игрушки и являются неодушевленными пассивными объектами, из этого не следует, что они не оказывают воздействия на тех, кто взаимодействует с ними. Так же как наличие или отсутствие книг в доме может быть одним из факторов, побуждающих (или не побуждающих) ребенка читать, игрушки являются одной из *средовых детерминант* (environmental determinants) социально-релевантных действий ребенка³.

Семантика символического интеракционизма — с ее «оснасткой взаимодействий», «средовыми детерминантами», «социально-релевантными действиями», «определениями ситуации» и «процессами смыслополагания» — кажется надежной опорой для формулирования продуктивной социологической концептуализации игрового объекта. Символический интеракционизм возвращает исследованию игрушек акцент на ситуации взаимодействия здесь-и-сейчас (тем самым избавляя нас от тирании Культуры и Психики), но тут же сталкивается с другой концептуальной ловушкой: дуализмом *материального* и *символического*. В попытке выбраться из нее Болл использует крайне сомнительный теоретический ход, переопределяя дуализм как континуум. Так появляется шкала, на одном конце которой

игрушки могут выступать «простыми вещами» или объектами, а на другом — наполняются социальными смыслами, имеющими собственные последствия для социализации (особенно в том, что касается ролей, идентичностей, определений ситуации или социального конструирования реальности в целом)⁴.

Таким образом, заинтриговавшая меня детская коляска — это одновременно и «простая вещь», «неодушевленный материальный объект» на одном полюсе болловского континуума, и «социальный конструкт», «наполненный символическими значениями», на другом. Означает ли это, что не одна, а сразу несколько детских колясок присутствуют в одном и том же месте в один и тот же момент времени? Не только «материальная», но и «культурная», и «символическая», и «социальная», и — вероятно — «социализирующая»? Логика символического интеракционизма приводит к странному умножению сущностей (в нашем случае — колясок).

Приведем еще одну иллюстрацию. Эта фотография была сделана в селе Беково Пензенской области в 1981 году. Изображенный на ней автомобиль местный Кулибин сконструировал для двух своих сыновей (7 и 10 лет) из деталей, найденных или присвоенных им по случаю. Автомобиль укомплектован небольшим мотором и является одновременно и «игрушечным автомобилем», и «средством передвижения» (впрочем, весьма непрактичным, учитывая глубину и консистенцию бековской грязи).



Амбивалентность игрового объекта

© А.С. Назаров (из книги: Назаров А.С. Хроники провинциальной жизни: Фотографии Пензенской области 80–90 годов XX века. М.: Типография «Новости», 2011. С. 136. Фото «Сельские кулибины»)

Приняв всерьез тезис Д. Болла, мы должны будем признать, что бековский Кулибин собрал не одну, а как минимум две машины. Одну — «простое материальное устройство» — из подручных деталей, вторую — «подлинно социальный объект» — из значений, идентичностей и иных элементов социальной реальности. Простое материальное устройство, словно оборотень, меняет свою идентичность в зависимости от ситуативной прагматики использования: если с ним играют сыновья, его следует рассматривать как игрушку, если же отец решает воспользоваться им для собственных нужд (например, съездить в местный магазин), то это средство передвижения.

Чтобы понять «работу» игрового объекта, не редуцируя его к Культуре и Психике, но и не впадая в искушение умножения сущностей (надстроив над материальной игрушкой два десятка социальных, культурных и символических ее реплик), нам потребуется принципиально иная логика — логика не-символического интеракционизма.

Интересный теоретический ход здесь предлагает Ирвинг Гофман в своей теории фреймов. Ее ключевое понятие — *транспонирование*. Так же как музыкальная фраза может быть по определенным правилам транспонирована, переключена, то есть перенесена и сыграна в другой тональности, социальное взаимодействие людей может быть перенесено из первичной системы фреймов («чаепитие», «боевые действия») во вторичную, игровую систему фреймов («кукольное чаепитие», «игра в войнушку»)⁵. Соответственно, материальные объекты, составляющие обязательную оснастку некоторого взаимодействия в первичном фрейме, становятся реквизитом, знаками самих себя в новом (вторичном) фрейме. Это «объекты в кавычках». Таким образом, игрушка становится объектом второго порядка не в силу иконического подобия некоторому трансцендентному означаемому (то есть своему неигровому «прототипу»), а в силу прагматического сходства — близости сценария использования. Более того: гофмановская модель мышления предполагает, что один и тот же объект может быть либо объектом первого порядка, либо объектом второго порядка — в зависимости от фрейма обращения с ним. Такие игрушки мы будем называть *транзитивными игровыми объектами*⁶ и вернемся к ним несколько позднее. Сначала же приведем пример не из области социологии игрушек, а из сферы социологии повседневности.

В микроавтобусах «Газель» есть два передних пассажирских сиденья, расположенных рядом с местом водителя. В некоторых моделях эти сиденья сдвоены и для них предусмотрен один общий ремень безопасности. Пристегнувшись, вы оказываетесь намертво связанным со своим соседом; причем у пассажира, сидящего ближе к двери, ремень проходит в районе горла, а у пассажира, сидящего рядом с коробкой передач, — в области диафрагмы. Водители, привыкшие к подобным ситуациям, рекомендуют пассажиру у двери не тянуть ремень через сдвоенное сиденье, а просто накинуть его на грудь, прижав застежку левой ногой. Тогда он не будет сковывать движений (левая нога не в счет), а стоящие у обочины автоинспекторы не почувствуют подвоха, успев разглядеть перекинутый через плечо пассажира ремень. В сущности, «Газель» — крайний случай вынужденного нарушения ПДД из-за ошибки в конструкции. После очередного ужесточения в России правил дорожного движения (до которого ремень безопасности в автомобилях выполнял преимущественно декоративную функцию) немалое число водителей предпочитают не пристегивать, а накидывать это приспособление.

Итак, налицо механизм транспонирования. Пристегивание как действие в первичном фрейме — при всей условности разделения фреймов на первичные и вторичные — переключается в «накидывание», то есть «как бы пристегивание». Это уже не забота о собственной безопасности и даже не рутинное совершение элементарной технической операции, а некоторый спектакль, инсценировка, игра на публику (причем публика у автомобилистов вполне определенная и весьма взыскательная). Однако еще более радикальный механизм транспонирования предложили производители оригинального продукта — белых рубашек с нарисованными на них ремнями безопасности

(в двух версиях: водительской и пассажирской или — что, впрочем, одно и то же — для владельцев машин с правым и левым рулем).

Собственно материальный объект в конструкции социального события играет исключительно важную, но далеко не главную роль — роль видимого «якоря», на котором держится фрейм. Материальные объекты удерживают границы социальных ситуаций, служат своего рода маркерами ситуации — метакоммуникативными сообщениями⁷. Они говорят участнику взаимодействия, что именно здесь происходит.

Игрушка, таким образом, — это не просто объект в кавычках: это то, что делает игру игрой *per se*. Фрейм игры зависит от игрушки не меньше, чем игрушка — от фрейма игры. Они взаимно конституируют друг друга.

Следующий шаг в русле «несимволического интеракционизма» — различение *значений*, приписываемых игрушке, и *сценариев*, вписанных в нее. Культурцентристская модель анализа присваивает привилегированный статус именно реальности аскриптивных значений (*ascriptions*). И действительно, с игрушками связано множество культурных значений: фигурка космонавта с надписью «СССР» на скафандре — это и символ ушедшей эпохи, и символ былого величия исчезнувшей страны, и символ неудержимого научного прогресса, а заодно — «обозначение» настоящего космонавта, вполне реального человека. Какое именно значение приписывается этой материальной фигурке и какое «прочитывается» ребенком или исследователем — предмет интереса культурологов. Микросоциолога интересуют сценарии (*inscriptions*): вписанные в материальный объект модели его использования. На курок игрушечного пистолета (по сценарию) нужно нажимать, руль машинки (по сценарию) — крутить. В один и тот же объект может быть вписано несколько сценариев, но это не означает мультипликацию игрового объекта — это все еще «та самая» машинка, «один и тот же» пистолет.

Сценарии суть имплицитные, материализованные, встроенные в объект смыслы. В отличие от значений они не нуждаются в интерпретации. Мы «прочитываем» их нереклексивно, так же как открываем дверь (сценарий двери, которому мы подчиняемся каждый раз, пересекая границу помещения), садимся на стул или заводим автомобиль. Любой используемый в коммуникации материальный объект можно анализировать в терминах предлагаемых им сценариев⁸. Важно подчеркнуть отличительную особенность инскрипций: вписанные в объект сценарии не являются предметом развернутых рефлексивных интерпретаций (именно этот аспект упускает из виду символический интеракционизм). Ошибка умножения сущностей возникает из-за того, что граница между приписываемыми объекту значениями и вписанными в него сценариями проводится недостаточно жестко. Как следствие, единство объекта затмевается множественностью его значений. Проблема материально-символического дуализма снимается, если мы отказываемся редуцировать сценарии к якобы стоящим за ними значениям⁹. Сценарии суверенны. Они не растворены в символическом универсуме культуры. Они существуют здесь-и-сейчас и — в отличие от свободно парящих культурных кодов — неотделимы от своего материального носителя.

Совокупность сценариев любой игрушки представляет собой набор действий, которые с ней по сценарию *следует* (*prescription*) или *не следует* (*restriction*) совершать. В коляске-автомобиле «следует» сидеть, вращать руль, «бибикать», имитировать звук работы двигателя и скрип тормозов. Это первичный сценарный ряд — сценарий игры в вождение автомобиля. «Не следует»: наряжать кукол, разводить костер или танцевать. Брюно Латур, отсы-

лая к работам Мадлен Акриш, предлагает исследовать инскриптивные сценарии материальных объектов в терминах «работ» и «действий», которые были им делегированы¹⁰.

В силу того, что сценарии обращения с игрушечными объектами зачастую чрезвычайно близки к сценариям обращения с их прототипами, возникают ситуации переноса. Так, в мае 2009 года после нескольких случаев стрельбы в немецких школах бундестаг начал обсуждать возможность законодательного запрещения пейнтбола. Один из разработчиков законопроекта о запрете пейнтбола, депутат бундестага от социал-демократической партии Дитер Вифельшпюц обосновывает свое предложение ссылками на минимальные изменения «стрельбы по живым людям» при его переносе в игровую ситуацию: «Пейнтбол имитирует убийство человека с применением огнестрельного оружия. Эту игру следует запретить! Пейнтбола в Германии быть не должно»¹¹. С ним согласны и многие комментаторы в блогосфере: «Пейнтбол и ему подобные игры приучают к насилию, так как делают его банальным», «Во время игры в пейнтбол мишенями служат люди, и в этом заключается проблема. Потому что можно заиграться, может возникнуть желание перенести игру в жизнь», «Будучи регулярным, такое занятие снижает порог агрессии и приводит к преступлениям». Стоит заметить, что в этом случае пейнтбол рассматривается не как транспонирование некоторого насильственного действия в игровое, а скорее как тренировка, генеральная репетиция (то есть как принципиально иная форма переноса). Сама возможность такого транспонирования кроется в сходстве двух наборов сценариев: сценария огнестрельного оружия и сценария пейнтбольного маркера.

Что означает сходство сценариев игровых и неигровых объектов? И что это сходство говорит нам об инскриптивной силе игрушки? Можем ли мы сказать, что игрушки, чьи сценарии использования ближе к их неигровым прототипам (то есть чьи «кавычки» не столь очевидны), обладают большей инскриптивной силой — сильнее «управляют» поведением играющего?

Приведем две иллюстрации.

Летом 2010 года автоконцерн «КамАЗ» подал в суд на российскую «дочку» немецкой компании «Вауег». Истец утверждал, что «Вауег» с 2007 по 2009 год выпустил в продажу 65,4 тысячи контрафактных игрушечных автомобилей, внешне очень напоминающих «КамАЗы», на сумму более 15 млн. руб. Автоконцерн сообщил суду, что зарегистрировал товарный знак «КамАЗ» в марте 2009 года, но и до этого имел приоритет на его использование. Автоконцерн хотел взыскать с ответчика 2,8 млн. руб. компенсации, однако в декабре Московский арбитраж отказал ему в этом требовании. Тогда «КамАЗ» подал иск в апелляционный суд, где и выиграл 1,5 млн. руб.¹²

Летом 2012 года компания «MGA Entertainment», специализирующаяся на производстве кукол, подала в суд на популярную певицу Леди Гагу. Предметом спора стала кукла певицы, за право на производство которой компания заплатила исполнительнице 1 млн. долл. Однако по условиям контракта Леди Гага оставила за собой право вето на выпуск куклы, если ее не удовлетворяет внешний вид игрушки. Сперва певица отклонила пилотный образец, попросив изменить линию щек и подбородка. Затем предложила компании-изготовителю сделать голову куклы съёмной (а точнее, «отрывной» — на месте оторванной головы должны быть видны «окровавленные внутренности»). Потом предложила заменить голосовой чип. Представители певицы утверждают, что все предложенные изменения необходимы для достижения боль-

шего сходства с оригиналом, однако компания-истец — запросившая с исполнительницы 10 млн. долларов — уверена, что Леди Гага намеренно затягивает выпуск куклы, чтобы он совпал с выходом ее очередного альбома¹³.

Итак, обе игрушки — и грузовик «КамАЗ», и кукла Леди Гаги — являются «объектами второго порядка», объектами в кавычках. Их семиотическая природа, однако, не является чем-то абсолютно бесспорным и непроблематичным. Непрозрачность отношений между знаком и референтом, собственно, и является основанием обоих исков. В первом случае сторона референта через суд заявила о своей власти над знаком, во втором — представители знака потребовали у референта признания их автономии (и денежной компенсации). Однако, что любопытно, ни в первом, ни во втором случае речь не идет о переносе сценария или об «инскриптивной близости» между оригиналом и копией — на игрушечном грузовичке вряд ли можно увезти несколько тонн щебня, а отрывание головы певице (как бы этого ни хотелось кампании «MGA» и некоторой части ее целевой группы) не входит в сценарий обращения с телом живого человека.

Это наблюдение возвращает нас к специфически-двойственной природе игрового объекта, очень точно подмеченной отечественными психологами (в частности, Л.С. Выготским), — игрушка как объект второго порядка, объект «в кавычках», с одной стороны, должна удерживать свою связь с изображаемым «прототипом», а с другой — утверждать автономию игрового мира, создавать *параллельную, но альтернативную* игровую вселенную¹⁴. Однако такая трактовка игрушки неизбежно заводит нас в дебри семиотических моделей мышления. А значит, в отношении между игрушкой и ее референтом вмешивается третий член семиотической формулы Огдена—Ричардса — референция. Так, в 2012 году после выхода на экраны фильма К. Тарантино «Джанго освобожденный» в продаже появились куклы главных героев, что вызвало бурю возмущения представителей афроамериканского сообщества США. По их мнению, «предлагать детям купить куклы чернокожих рабов (за 299 долл. — В.В.) — значит насмехаться над рабством». То есть референтом куклы является персонаж фильма, тогда как ее референцией — все эмоционально окрашенные коннотации рабства¹⁵. В итоге киностудия «Weinstein Company» была вынуждена изъять из продажи все выпущенные игрушки (отчего цена уже проданных экземпляров среди коллекционеров стремительно возросла).

Впрочем, интересно другое: как мы видели выше на примере исков «КамАЗа» и производителей кукол Леди Гаги, семиотическая близость между знаком и референтом отнюдь не означает их прагматической близости — той самой сценарной или инскриптивной близости, которая привлекла наше внимание выше в случае с близостью сценариев использования игрового и боевого оружия.

Теперь вернемся к различию транзитивных и нетранзитивных игровых объектов. Транзитивные игровые объекты легко пересекают границу, отделяющую игру от неигры, не меняя своих физических свойств. К примеру, неигрушечный сотовый телефон может стать отличным игрушечным сотовым телефоном для девочек, играющих в светскую беседу по телефону (но при этом сидящих в одной комнате и лишь имитирующих звонок). После игры он снова может использоваться по прямому назначению как «объект первого порядка», без кавычек. Если мы примем широкое (гофмановское) определение игры как транспонированной активности, то иллюстрацией транзитивных игровых объектов могут также послужить и чешские автоматы

CZ SA Vz.58, закупленные (в количестве 3000 штук) съемочной группой фильма «Оружейный барон» для съемок в Африке — настоящее оружие оказалось дешевле муляжей¹⁶. Иными словами, транзитивный игровой объект — это неигровой объект, «взятый в кавычки» и использованный в игре как знак самого себя.

Соответственно, нетранзитивные игровые объекты представляют собой реплики оригинала, исключающие использование «по прямому назначению». Их инскрипции могут быть сколь угодно близки сценариям «прототипа», но перенос здесь вряд ли возможен: тренировочной «игровой» рапирой крайне трудно убить человека, хотя она и происходит исторически от «неигровой» итальянской рапиры *fioretto*.

Особый случай — ситуации, при которых нетранзитивные игровые объекты транспонируются в неигровые фреймы и начинают использоваться в буквальном смысле. Эти ситуации мы относим к пограничным случаям *квазитранзитивности*. Многочисленные захваты самолетов и ограбления банков с использованием игрушечного оружия — классический пример этого эффекта. Другая иллюстрация квазитранзитивности — описанный выше игрушечный автомобиль с мотором: бековский Кулибин, решивший отправиться на нем в ближайший магазин, совершает ситуацию обратного транспонирования, используя игровой объект вместо его неигрового «прототипа».

Впрочем, далеко не всякое транспонирование игрового объекта порождает эффект квазитранзитивности. Игрушка, будучи «заключенным в кавычки неигровым объектом», может заключаться во все новые и новые кавычки, перемещаясь в иные вторичные фреймы — искусства или состязания. Примером первого типа транспонирования может служить прошедшая в 2009 году в Третьяковской галерее выставка с говорящим названием «Не игрушки!»¹⁷. Второй тип транспонирования — состязание сертифицированных лего-архитекторов (которых в мире насчитывается всего тринадцать) в возведении самой внушительной постройки из деталей конструктора¹⁸.



Лего-архитектура — нетранзитивный объект
(см.: www.dvce.com/archives/2012/04/exhibit-of-the.php
(дата обращения: 20.05.2013))

Эффект квазитранзитивности мог бы возникнуть, если бы кому-то пришлось в голову построить из кубиков «Лего» дом, а затем поселиться в нем, используя игрушечный объект как его более функциональный «прототип».

Гофмановская версия «несимволического интеракционизма», кажется, решает проблему материально-символической дуальности игрушки — Гофман (в отличие от Д. Болла) отказывается растворять ситуативные значения объектов в широких символических универсумах культурных кодов. Однако он отнюдь не отказывается от семиотической логики мышления, в которой всякий игровой объект — это прежде всего знак¹⁹. В итоге дуализм материального и символического замещается дуализмом материального и ситуативного. Пытаясь разубить этот гордиев узел, Гофман радикализирует и без того неудовлетворительное теоретическое решение Болла: теперь не существует «одного и того же объекта» в разных фреймах, сколько фреймов — столько объектов. Даже если физически перед нами «одна и та же» шпага, мы вынуждены говорить о разных шпагах в зависимости от фрейма взаимодействия, будь то сражение подростка с воображаемыми врагами, притворная потасовка молодых аристократов, спортивное состязание или смертельная дуэль.

Фрейм-анализ, предлагая целый ряд остроумных различений (и в целом помогая объяснить феномены «переноса сценария» и «инскриптивной близости»), тем не менее заводит нас в тот же теоретический тупик, что и символический интеракционизм. Фокусируясь на сценариях социального взаимодействия, в которые вписаны игровые объекты, мы перестаем видеть сценарии, которые вписаны в них.

Вернемся ненадолго к различению транзитивных и нетранзитивных игровых объектов. Нетрудно заметить, что граница между ними лежит отнюдь не только в сценариях использования. При ближайшем рассмотрении мы обнаружим обширную «серую зону» между двумя этими классами. К примеру, игрушечным молоточком все же можно забить гвоздь — хотя он легче и меньше настоящего. Реактивы в наборе «Юный химик» — это «настоящие» реактивы, используемые в лабораторных испытаниях (их главное отличие от прототипа не столько качественное, сколько количественное: концентрация и объем). Основанием описанного выше феномена квазитранзитивности является то, что объекты «первого» и «второго» порядков *могут обладать общими пределами допустимости, общими допущениями (affordance)*.

Если сценарий — это действия, которые *следует* или *не следует* совершать с игровым объектом, то допуск — действия, которые с ним потенциально *можно* совершить. К примеру, игрушечную лопатку можно использовать не только по сценарию, в песочнице — она с легкостью становится трамплином для игрушечного автомобиля, оружием, позволяющим дать сдачи обидчику, или открывалкой для пива. Одна из теорем микросоциологии: у материальных игрушек «мера допустимости» всегда больше «меры сообразности» — игрушка позволяет сделать с собой больше предусмотренного сценарием. (Это не так в случае компьютерных игр, где сценарий и аффорданс практически совпадают²⁰.) Однако соотношение двух этих показателей различается от игрушки к игрушке: например, конструктор «Лего», из которого сложно собрать что-то не предусмотренное инструкцией, сильно отличается от советских конструкторов, представляющих собой набор деталей и скрепляющих их гаек.

Своего рода «формулой» игрушки является отношение двух этих показателей: сценарных и потенциально допустимых действий. Старые пластмассовые кегли (почему-то столь распространенные в арсенале советских детей, не имев-

ших представления о боулинге) позволяют с собой сделать гораздо больше, чем заложено в сценарии, — потому что, с одной стороны, сценарий их крайне слабо «прописан», а с другой, они обладают специфической материальной формой. Водяной пистолет заметно «тоталитарнее»: действия с ним сильнее детерминированы сценарием (выше мы назвали это свойство «инскриптивной силой»).

Сам термин «допустимость» был введен в обиход психологом Дж. Гибсоном как часть развитого им экологического подхода к исследованию зрительного восприятия²¹, однако сегодня он широко используется в социологии материальности и так называемой психологии повседневных вещей (PoET). Ром Харре дает ему следующую интерпретацию:

Аффорданс (допустимость), как ее понимает сам Гибсон, есть материальное отношение, последствия которого описываются в терминах человеческого мира. Один и тот же материальный предмет может использоваться огромным количеством способов. Каждый из этих способов представляет собой пример допустимости. Допустимости характеризуются пространственно-временным расположением, зависящим от утвердившихся идентичностей материальных предметов и социальных ситуаций. Так, пол допускает ходьбу, танцы, размещение мебели; окно допускает вид на озеро, бегство от опасности, подглядывание; нож допускает резание, угрозу, открывание оконного шпингалета и многое другое²².

Впрочем, самого Харре аффордансы материальных объектов занимают исключительно с точки зрения того места, которое они обеспечивают своим носителям в нарративе: «...игла допускает шитье, и поэтому ее может взять в руки принцесса, но она так же допускает и укол пальца, из-за чего принцесса может оказаться погружена в сказочный сон»²³.

Куда последовательнее в своем «материализме» психолог Дональд Норман, который приводит следующий пример. Павильоны из армированного стекла на британских железнодорожных станциях всегда были излюбленным объектом вандализма, поэтому стекло было решено заменить фанерой. Однако эта замена лишь раззадорила вандалов: новые фанерные поверхности в мгновение ока стали покрываться надписями и граффити. Норман пишет:

Термин допустимость относится к воспринимаемым и актуальным свойствам вещей — преимущественно к тем их свойствам, которые определяют возможности их использования. Кресло допускает сидение. Но оно также допускает переноску. Стекло допускает смотрение и разбивание. Дерево — укрытие, выжигание и разрисовывание. Отсюда проблемы британских железнодорожников: если перегородки сделаны из стекла, их разобьют, если из дерева — их разрисуют. Планировщики оказались заложниками множественных допустимостей собственных материалов²⁴.

Как бы двусмысленно ни звучал этот тезис, но городской вандализм — один из наиболее иллюстративных примеров перформативного, игрового взаимодействия с городскими объектами.

Возвращаясь к теории игрушек, напомним, что сценарии и допустимости не различаются как «символическое» и «материальное» в игровом объекте. Нет двух игрушек — материальной и символической, — есть только один игровой объект, существующий в разных *модальностях* взаимодействия. «Inscriptions» и «affordances» — это нормативный и потенциальный модусы существования одного и того же объекта.

Насколько значимо определение модальности для понимания статуса игрового объекта в социальном мире? К примеру, богатый ассортимент мягких

детских игрушек со встроенными видеокамерами или роботы-трансформеры со скрытыми микрофонами на территории Российской Федерации запрещены к распространению как «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», статьей 138.1 УК РФ. То, что для производителя — игрушка, для следователя — незаконно ввезенное спецтехсредство²⁵. Основанием для причисления того или иного игрового объекта к неигровому классу «шпионского оборудования» является не вписанный в него сценарий, а именно допустимость — технические возможности устройства. Совсем недавно сотрудники Бюро специальных технических мероприятий выехали в один из детских магазинов Калининграда из-за наличия в ассортименте подозрительных часов (20 минут видеозаписи, 2000 фото, диктофон, детектор лжи плюс камера-змейка как дополнительное спецустройство). Но эти часы специалисты не отнесли к спецтехсредствам, поскольку «камера не встроена в предмет, не имеет вынесенный зрачок входа (pin-hole), а также не работает при низкой освещенности объекта»²⁶.

Кажется, зазор между сценарной и физической модальностью объекта создает пространство для любопытных юридических прецедентов. В конечном итоге должна ли процедура установления «юридического» статуса объекта включать в себя сценарное измерение? Нужно ли принимать во внимание то, насколько данный объект *рассчитан* на проникновение в частную жизнь и незаконный сбор данных? Нужны ли свидетельства «вписанности» такого проникновения в сценарий использования объекта или достаточно простой технической возможности (то есть допустимости)? Кажется очевидным, что сама юридическая формулировка «предназначен для...» предполагает приоритет инскриптивной модальности. Однако при вынесении решения, как мы видели на примере детских часов с недетской «начинкой», ключевую роль играет именно физическая возможность²⁷.

Само понятие модальности применимо к материальному объекту настолько, насколько он является объектом-в-действии. Представим теперь допустимость игрушки как простое множество действий, которые может совершить с этим объектом играющий. В действительности некоторые действия находятся «ближе» друг к другу в пространстве физических операций, и потому допустимо говорить о кластерах потенциальных действий. Но этот аспект для нас сейчас не принципиален.

Теперь выделим в этом множестве подмножество действий, встроенных в материальный объект, то есть предусмотренных сценарием (inscriptions). Опять же, в пространстве сценарных «ходов» действия связаны друг с другом в относительно строгие последовательности (пистолет сначала заряжают и лишь потом приступают к стрельбе), а потому, возможно, их следует представлять в качестве ориентированного (направленного) графа. Но и этот аспект для нас сейчас не принципиален²⁸.

Мы видим, что значение имеет не только богатство возможных игровых ходов, предусмотренных сценарием, но и спектр потенциальных действий, оставшихся за скобками. Почему? Потому что множество физически существующих допустимостей является основанием для переписывания сценария самим играющим: в игре объекты нестабильны — они непрерывно приобретают новые функции и роли по ходу того, как разворачивается взаимодействие. Это свойство — свойство эмерджентности игровых ситуаций — основано на эффекте *транспозиции сценария*.

Транспозиция сценария — «перепрограммирование» объекта самим играющим — происходит, к примеру, в результате физической поломки. Мистический момент, в который машинка *ломается*. (Родители силятся убедить ребенка, что машинка «не могла сломаться сама», что это он — подлинный субъект поломки. Но ребенок, играя с машинкой, разделяет с ней свое действие и, как следствие, разделяет с ней ответственность за его последствия.) Задние колеса отвалились, и часть сценарных действий больше физически невозможно выполнять: ее уже нельзя посылать в дрифт мощным толчком («катнуть»), но все еще можно «возить» (то есть перемещать, не отрывая руки, издавая характерный звук «м-м-м-м» или «ж-ж-ж-ж»). Множество потенциальных действий изменилось, и вместе с ним меняется (сокращается) множество сценарных ходов. Зато теперь у машинки можно отломать оставшиеся колеса и сделать из нее лодочку.

Однако транспозиция сценария возникает и в тех случаях, когда игрушки комбинируются в игре, образуя новые метасценарии игровых взаимодействий. Например, на ролике «Сделали и сломали машинкой городок-конструктор», доступном по ссылке: www.youtube.com/watch?v=sgaOY0qbRMc (дата обращения: 20.05.2013), представлена последовательность игровых действий отца и пятилетнего сына, соединивших в один метасценарий разные игровые (и не совсем игровые) объекты.



Метасценарные взаимодействия (кадр из видеоролика: www.youtube.com/watch?v=sgaOY0qbRMc (дата обращения: 20.05.2013))

Разберем последовательность эпизодов игры:

1) Отец с сыном строят замок, используя детали нескольких конструкторов, кубики и игрушечные деревья (в качестве призматковых зеленых насаждений).

2) Играющие «населяют» замок разнокалиберными фигурками людей, сказочных персонажей и динозавров.

3) На сцену выходят роботы-трансформеры, которые, продемонстрировав возможности собственной субъектности (у игрушек на батарейках таких возможностей заведомо больше), занимают места защитников замка.

4) Игрушечный солдат, представляющий атакующую сторону, занимает место в радиоуправляемом джипе.

5) Джип прорывает оборону трансформеров и динозавров, последовательно разрушая замок. Защитники падают со стен, их драматическая гибель под руинами знаменует конец игры.

Ни один из игровых объектов не сломан, однако их сценарии накладывают друг на друга, слетаются в новый метасценарий, носителем которого является не каждый объект в отдельности, а их интеробъективный ансамбль²⁹. Благодаря свойству интеробъективности игрушки «обмениваются» сценариями, не меняя своей физической формы. В легио-набор «Бензоколонка» вписан сценарий «собрать бензоколонку — собрать автомобиль — заправить автомобиль», а в легио-набор «Крупная ферма» вписан сценарий «собрать коровник — собрать прицеп — погрузить в прицеп корову — отвезти в коровник». Это не мешает играющему ребенку последовательно собрать бензоколонку в коровнике, погрузить на прицеп автомобиль, а за руль посадить корову.

Является ли такая игра примером субъект-объектных взаимодействий? Сама подобная формулировка кажется неудачной. Игрушки отвечают на действия играющего. (Не говоря уже о том, что им самим уже делегировано множество действий.) Когда отец и сын строят замок, они еще не знают, что охранять его предстоит роботам-трансформерам, а разрушить — американскому сержанту на радиоуправляемом джипе. Сценарий игры возникает по ходу игры, а потому игра всегда оказывается взаимодействием, постоянно трансцендирующим собственные границы. Игрушки являются в равной степени субъектами и объектами взаимодействий. Очень условно их можно разделить на три класса по характеру субъектности взаимодействий.

Первый — «*игрушка-обстановка*» (setting), то есть непосредственная физическая «среда» игровой коммуникации. Пример — песочница или бассейн (дети играют в песочнице или в бассейне, а не с песочницей или с бассейном). Не будучи непосредственно партнерами по взаимодействию, такие игрушки задают [материальные] условия возможности игровых действий.

Второй класс — «*игрушка-оснастка*» (equipment): пистолет, автомобиль или мяч опосредуют действия играющего, придавая в то же время определенность самой ситуации игры. Материальность такого типа игрового объекта может быть чисто условной (в отличие от игрушки-обстановки): девочка играет в большую, повязав на рукав красную тряпку, и играющим понятно, что она — доктор или медсестра. Но красная тряпка как «игрушка-оснастка» встроена в ситуацию данной игры, в другой ситуации ее смысл радикально изменится.

Третий класс игрушек — «*игрушка-актант*» (actant), которая выступает не столько средством, сколько партнером по взаимодействию. Пример — кукла, которую девочка может воспитывать, наказывать, кормить печеньем и укладывать спать. Или робот-трансформер, которому не удалось предотвратить нападение радиоуправляемого джипа на замок.

Эффекту транспозиции сценария, описанному выше, мы обязаны тем, что игрушки могут переходить из одного класса объектов в другой. Мяч для игры в баскетбол (equipment) становится «Мистером Уилсоном», единственным другом и собеседником (actant) попавшего на необитаемый остров Тома Хэнкса (см. фильм «Изгой»). Лопатка, ставшая трамплином для автомобиля, превращается из «оснастки» в элемент «обстановки». И т.д.



Наномитинг (2012)

© Иван Крупчик (ivan-krupchik.livejournal.com/11965.html)
(дата обращения: 20.05.2013)

Игрушки-актанты, «замещающие» людей, обладают особым положением в социальном мире. Сразу же после выборов в декабре 2011 года в России возникла новая форма политического протеста — так называемые наномитинги. Протестующие выставили на главной площади Барнаула (и нескольких других городов) два десятка игрушек, вооруженных оппозиционными лозунгами.

Полиция вмешалась в проведение акции, «арестовав» игрушечных манифестантов для дальнейшего разбирательства. Организаторы митинга немедленно подали заявку на проведение аналогичного мероприятия от лица «100 игрушек из киндер-сюрпризов, 100 лего-человечков, 20 игрушечных солдатиков, 15 мягких игрушек и 10 игрушечных автомобилей». Заявка была отклонена в связи отсутствием у заявителей российского гражданства. Как пояснил представитель барнаульской администрации Андрей Ляпунов:

У городской власти нет никакой возможности согласовать данное мероприятие, так как участниками митинга по закону могут быть только граждане России. Как вы понимаете, игрушки, *особенно импортные* (курсив мой. — В.В.), — не только не являются гражданами России, но и не являются людьми. Возможно, подавшие заявление люди одушевляют свои игрушки, как это делают обычно дети, и считают их своими друзьями, — но у законодательства, к сожалению, на это другой взгляд. Отсюда ни игрушки, ни, например, флаги, ни посуда или бытовая техника, предметы одежды не могут быть участниками митинга³⁰.

Впрочем, это не помешало представителям местного МВД объявить наномитинг «несанкционированным публичным мероприятием» («либо пикетом, либо собранием»), проведенным с использованием «новых технологий». Кто в этом заявлении был признан «участником мероприятия», а кто — «технологией», остается загадкой.

И все же, что представляет собой наномитинг с точки зрения социологии игрушек? Для последовательного фрейм-аналитика это событие — «акция протеста», транспонированное во вторичный, небуквальный (non-literal) фрейм. Прототипом наномитинга является самый обычный митинг. Можем ли мы сказать, что барнаульская акция игрушечного протеста — это на самом деле транспонирование события «игра с игрушками» в политическую тональность? Нет. Потому что транспонируются взаимодействия, а не объекты. Наномитинг воспроизводит структуру отношений обычного митинга, заменяя участников-людей участниками-игрушками. Он не воспроизводит логическую конструкцию события «игра с игрушками» (участники не катают машинки навстречу друг другу, не организуют бои игрушечных солдатиков, не развлекают принесенных кукол светской беседой и чаепитием) в иной тональности взаимодействия. Ребенку такой способ играть — наклеить баннеры, поставить в рядок и сфотографировать — показался бы нестерпимо скучным.

Классический фрейм-аналитический вопрос: почему в одних случаях использование игрушечного реквизита в «буквальном» социальном взаимодействии приводит к транспонированию, а в других — нет? Например, не так давно на одной из кандидатских защит в Высшей школе экономики члены диссертационного совета — недовольные новым ужесточением ваковских правил и требованием предоставлять полную видеозапись защиты — демонстративно надели клоунские маски перед началом мероприятия. Тем самым была сделана попытка переключения события академического ритуала в игровой фрейм (именуемый на языке мира повседневности «клоунадой»). Однако использование тех же самых клоунских масок, например, грабителями при налете на банк отнюдь не сообщает событию ограбления «небуквальных» коннотаций — это самое настоящее, нетранспонированное ограбление. В первом случае важно, что маска «клоунская» (сценарий), во втором — то, что она «маска» (допустимость).

Однако вернемся к барнаульским событиям. Мы видим, что фрейм-аналитическая формула с ее вниманием к транспонированию взаимодействий упускает что-то исключительно важное. То, что, например, ставит в тупик городские власти, вынужденные использовать в качестве аргумента отсутствие у игрушек российского паспорта. Игрушки-актанты не являются реквизитом, метакоммуникативным сообщением, скрепляющим и удерживающим фрейм коммуникации. *Они перформативны*. Они меняются ролями с людьми. Они не столько поддерживают, сколько размывают границы ситуации, делая пределы и правила игры предметом самой игры. Они меняют сценарий взаимодействия по ходу взаимодействия, разделяя с людьми свойство агентности. Они импровизируют и заставляют импровизировать других акторов — от организаторов протеста до сотрудников полиции. В результате событие наномитинга уже не выглядит как элементарный, статичный и доступный однозначной квалификации «отрезок деятельности». Взаимодействие с игрушками — действие с открытым финалом. Ребенок, ведущий радиоуправляемый джип на лего-замок, еще не знает, что из этого выйдет. Фиксированность сценария игрового объекта парадоксальным образом связана с нефиксированностью сценариев самой игры. В результате игра становится не столько «событием игровой коммуникации», сколько процессом производства событий. Сам по себе факт транспонирования не объясняет свойства эмерджентности игровых взаимодействий и перформативности игровых объектов.

Более того, при внимательном рассмотрении можно увидеть то, чего не видит последовательный фрейм-аналитик: определенное сходство в сцена-

рии наномитинга и сценарии игры с разрушением лего-замка. В обоих случаях мы наблюдаем транспозицию сценариев и их соединение в метасценарные взаимодействия (роль американского солдата на радиоуправляемом джипе в Барнауле выполнил наряд полиции). То, что фрейм-анализ старается не видеть (связь между «игрой в игрушки» и «наномитингом»), — социология игрушек выводит на первый план.

Эта особенность теоретической оптики фрейм-анализа и социологии игрушки делает неочевидным соотношение двух интересующих нас эффектов: эффекта транспонирования взаимодействия и эффекта транспозиции сценария игрушки. Мы видим, как в ряде случаев использование игрушечного реквизита (клоунской маски на защите кандидатской) приводит к переносу события взаимодействия в иной, небуквальный фрейм. (Представьте, что члены совета вместо игрушек-оснастки использовали бы игрушки-актанты: начали бы играть в солдатиков, изображая самих себя и диссертанта, коллективными усилиями поддерживая фрейм «нанозащиты», — как долго продлилась бы их коммуникация с диссертантом и оппонентами?) Но этот перенос не связан с транспозицией сценария маски — маска была использована здесь по прямому назначению, буквально. Напротив, в случае с ограблением банка в клоунских масках мы видим эффект транспозиции сценария (маски перестают использоваться как игрушки), не сопровождающийся транспонированием взаимодействия — сотрудники банка не умирают от смеха, посетители не аплодируют, грабители не шутят, полиция не кричит «браво». Впрочем, это — экстремальный случай. Девочка играет с куклой, делая ей модную прическу, у куклы отрывается рука — девочка начинает играть в больницу «скорой помощи», пытаясь хирургическим путем вернуть руку на место, а когда это не удается, переходит к игре в Джека-потрошителя. Транспозиция сценария, связанная с изменением набора допустимостей куклы (куклам регулярно отрывают части тела, но данное действие не предусмотрено их сценарием — если это, конечно, не кукла Леди Гаги), делит игру на замкнутые смысловые эпизоды. И хотя каждый такой эпизод сопровождается транспозицией сценария игрового объекта, транспонирования не происходит — все эпизоды принадлежат одному и тому же фрейму игры.

Кроме того, можно выделить класс случаев, в которых транспозиция напрямую связана с транспонированием. Игрушечный телефон, в процессе быстрого и последовательного нажатия трех кнопок произносящий не вполне цензурную фразу по-английски³¹, — это, конечно, продукт транспозиции сценария (что характерно — без изменения допустимости: телефон не сломан, он просто использован не вполне конвенциональным образом) и одновременно — инструмент транспонирования взаимодействия в иной (уже совсем не детский) фрейм.

Резюмируя, можно заключить, что вопрос о соотношении транспозиции и транспонирования остается для нас открытым. Интуитивно угадывая связь этих механизмов, мы пока не можем сказать о ней ничего определенного. Это — предмет нашего дальнейшего исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: *Brown K.D. Modeling for War? Toy Soldiers in Late Victorian and Edwardian Britain // Journal of Social History. 1990. Vol. 24. P. 237–254; Buettner C. War Toys or The Organization of Hostility International // Journal of Early Childhood. 1981. Vol. 13. P. 104–112; Carlson-Paige N., Levin D.E. The War Play Dilemma: Balancing*

- Needs and Values in the Early Childhood Classroom. New York: Teacher College Press, 1987; *Masters A.L.* Some Thoughts on Teenage Mutant Ninja Turtles: War Toys and Post-Raegan America // *Journal of Psychohistory*. 1990. Vol. 17. P. 319–326; *Sutton-Smith B.* War Toys and Childhood Aggression // *Play and Culture*. 1988. Vol. 1. P. 57–69; *Cox D.R.* Barbie and Her Playmates // *Journal of Popular Culture*. 1977. Vol. 11. P. 303–307; *Motz M.F.* «I Want to Be a Barbie Girl When I Grow Up»: The Cultural Significance of the Barbie Doll // *The Popular Culture Reader* / Ed. by Christopher Geist and Jack Nachbar. Bowling Green, OH: Bowling Green University Popular Press, 1983; *Nelson-Rowe S.* Ritual, Magic, and Education Toys: Symbolic Aspects of Toy Selection // *Troubling Children: Studies of Children and Social Problems* / Ed. by Joel Best. New York: Aldine, 1994; *Pursell C.W.* Toys, Technology and Sex Roles in America, 1920–1940 // *Dynamos and Virgins Revisited* / Ed. by Martha Moore Trescott. Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press, 1979; *Wilkinson D.Y.* The Doll Exhibit: A Psycho-Cultural Analysis of Black Female Role Stereotypes // *Journal of Popular Culture*. 1987. Vol. 21. P. 19–29.
- 2 См.: *Латур Б.* Об интеробъективности // *Социология вещей* / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006.
 - 3 *Ball D.* Toward a Sociology of Toys: Inanimate Objects, Socialization, and the Demography of the Doll World // *The Sociological Quarterly*. 1967. P. 449.
 - 4 *Ibid.* P. 450.
 - 5 *Гофман И.* Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой. М.: Институт социологии РАН, 2003.
 - 6 Сразу же оговоримся, что наше определение «транзитивного игрового объекта» не имеет ничего общего с классом «переходных объектов», выделенных психоаналитиком Д. Винникотом.
 - 7 *Бейтсон Г.* Теория игры и фантазии // Бейтсон Г. Экология разума: Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Пер. с англ. Д.Я. Федотова, М.П. Папуша. М.: Смысл, 2000.
 - 8 *Akrich M.* The De-Description of Technical Objects // *Shaping Technology / Building Society: Studies in Sociotechnical Change* / Ed. by W. Bijker, J. Law. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992. См. также: *Akrich M., Latour B.* A Summary of a Convenient Vocabulary for the Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies // *Ibid.*
 - 9 Или, в более мягкой версии Дональда Болла, рассматривать инскриптивные сценарии как ситуативные дериваты акриптивных значений.
 - 10 *Латур Б.* Указ. соч.
 - 11 Пейнтбол будет жить // Радио «Свобода», 20 мая 2009 года (news.mail.ru/society/2599600 (дата обращения: 14.05.2013)).
 - 12 «КамАЗ» отсудил у продавца игрушек «Бауэр» 1,5 млн рублей // www.formychild.ru/cgi-bin/toys.cgi?stp=news_card&id=3468 (дата обращения: 14.05.2013).
 - 13 Lady Gaga Hit With \$10M Lawsuit over Doll in Her Likeness // www.thewrap.com/music/article/lady-gaga-hit-10m-lawsuit-over-doll-her-likeness-49246?page=0,0 (дата обращения: 14.05.2013).
 - 14 *Эльконин Д.Б.* Психология игры. М.: Педагогика, 1978.
 - 15 Афроамериканцы оскорблены появлением в продаже кукол героев фильма «Джанго освобожденный» // culturavrn.ru/world/8428 (дата обращения: 14.05.2013).
 - 16 Director Finds Real Guns Cheaper than Props // www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10345429 (дата обращения: 14.05.2013).
 - 17 Не игрушки!?! // www.afisha.ru/exhibition/56482 (дата обращения: 14.05.2013).
 - 18 Любопытный вопрос: допустимо ли леги-архитектору использовать в своей работе клей? Его использование, несомненно, делает постройку более долговечной и устойчивой, однако она уже не является леги-строением в полной мере.

- 19 Это то, что позволяет Фредрику Джеймисону провести параллель между гофмановским фрейм-анализом и «франко-итальянской школой семиотики»: *Jameson F. On Goffman's Frame Analysis // Theory and Society. 1976. Vol. 3. № 1. P. 119–133.*
- 20 Один из моих коллег пытался научить своего десятилетнего сына нестандартным «патриотическим» образом играть в известную (уже, впрочем, устаревшую и вышедшую из моды) компьютерную игру. Взлетая на американском истребителе — по сценарию, — игрок должен был бесстрашно сражаться с превосходящими советскими силами, выполняя миссии в тылу врага. Коллега учил ребенка подниматься в воздух и максимально эффективно, на скорость, бомбить собственные (американские) аэродромы, тем самым выражая свою политическую позицию и подчеркивая идеологические расхождения с создателями игры. Как и следовало ожидать, игра стремительно надоела ребенку — допустимость компьютерной игры-симулятора не предполагает подобного рода вольностей в обращении со сценарием. Напротив, зазор между сценарием и допустимостью материальных игрушек куда шире. (Впрочем, многопользовательские игровые онлайн-миры вроде «Second Life», лишённые жестких сценариев, являются здесь скорее исключением и требуют отдельного рассмотрения.)
- 21 *Gibson J.J. An Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin, 1979.*
- 22 *Харпе Р. Материальные объекты в социальных мирах // Социология вещей. С. 124.*
- 23 Там же. С. 125.
- 24 *Norman D.A. The Design of Everyday Things. New York: Doubleday, 1988.*
- 25 Внимание родителей: за игрушку с камерой можете получить 4 года лагерей! // forum-msk.org/material/kompromat/9657613.html (дата обращения: 14.05.2013).
- 26 Калининградец установил камеру в аудиокolonку и пошел под суд // strana.klops.ru/news/Obschestvo/57252/Kaliningradec-ustanovil-kameru-v-audiokolonku-i-posel-pod-sud.html (дата обращения: 14.05.2013).
- 27 Со сходной проблемой столкнулся индийский суд, которому требовалось установить: считать ли вибропрезерватив, снабженный батарейками, секс-игрушкой или средством контрацепции. Производитель уверял, что презервативы «Крещендо» являются средством контрацепции, в то время как его оппоненты уверяли суд, что «Крещендо» — это секс-игрушка (см.: Самые нелепые судебные иски // www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/18212_samy_e_nelerye_sudebnye_iski (дата обращения: 14.05.2013)). Впрочем, соотношение инскрипций и аффордансов секс-игрушек — отдельная тема, которая не будет рассматриваться в этой статье.
- 28 Еще один возможный ход — описание «валентности» игровых действий (одни действия с большей вероятностью «сцепляются» друг с другом в сценарные последовательности, чем другие), подобно тому как А.Ф. Филиппов пишет о валентности социальных событий. См.: *Филиппов А.Ф. Пространство политических событий // Полис. 2005. № 2. С. 6–25.*
- 29 Другой пример метасценарной игры см.: *Toy Car Crash // www.youtube.com/watch?v=G9WDeBzci1w* (дата обращения: 14.05.2013).
- 30 Подробности и продолжение истории см.: *В Барнауле игрушки устроили новый «наномитинг» // www.amic.ru/news/173228* (дата обращения: 14.05.2013).
- 31 См.: *How to Get the Baby Phone Toy to Curse // www.youtube.com/watch?v=ebv51QNm2Bk* (дата обращения: 14.05.2013).